ДЕЛО ПРОВОКАТОРА ОКЛАДСКОГО.

Тридцать семь лет в охранке.

СУДЬБА ИВАНА ОКЛАДСКОГО. — **Н. Тютчев.**

Из обвинительного заключения об Иване Окладском.

Автобиография Окладского (И. А. Петровского).

Январьские и мартовские аресты народовольцев в 1881 г. — **А. Прибылева.**

Под редакцией И. Я. Дерзибашева.

Предисловие П. Е. ЩЕГОЛЕВА.

...фотографиями в тексте.

Петроград,
„Рабочий Суд".
1925.

№ 135



ДЕПАРТАМЕНТА
ПОЛИЦІИ.

ДѢЛОПРОИЗВОДСТВО.
Секретаря

О потомственномъ почетномъ гражданинѣ Иванѣ Александровѣ Петровскомъ

Начато 1*903* года.

Кончено 1 года.

На листахъ.

Снимок с подлинного дела б. департамента полиции об **ОКЛАДСКОМ**.

Набрано и отпечатано

в типографии

„Рабочий Суд“

в количестве 500 экзем.



Ленинградский Гублит № 17798 Типография „Рабочий Суд“. Советский пр., 2.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

В настоящей книге собраны материалы по процессу Ивана Окладского (он-же Петровский). Этот процесс один из самых выдающихся и необыкновенных в судебной практике.

Поразительна в этом процессе необычайная длительность преступления: начало совершения его относится к концу 1880 года, а конец—к февралю 1917 года; следовательно, длилось оно тридцать шесть лет с лишним. Необычайна и личность подсудимого. Рабочий, выдающийся революционер, участник покушений на цареубийство, соратник Желябова Иван Окладский был судим военным судом в октябре 1880 года по процессу шестнадцати. В последнем своем слове он сказал: „я не прошу и не нуждаюсь в смягчении моей участи; напротив, если суд смягчит свой приговор относительно меня, я приму это за оскорбление". 30 октября 1880 года Иван Окладский был присужден к лишению всех прав состояния и к смертной казни через повешение. 2 ноября царь заменил Окладскому смертную казнь ссылкой в каторжные работы без срока. В момент произнесения помилования революционер Иван Окладский духовно был мертв. Умер Иван Окладский, но появился на свет некий „Иван", постепенно превращавшийся. Иван стал Ивановым, потом Александровым, наконец потомственным почетным гражданином Иваном Александровичем Петровским. Этот потомственный почетный гражданин в начале ноября 1880 года стал предателем. Он купил физическую свою жизнь ценой предательства. Он рассказал правительству все, что он знал о революционном движении своего времени; назвал всех, кого мог; открыл неоткрытые революционные замыслы; указал квартиры, в которых были динамитная мастерская и революционная типография; опознавал всех, кого пред'являли ему; раз'езжал с жандармами по улицам Петербурга и открывал революционеров; сидя в крепости, перестукивался с соседями и полученные сведения передавал властям. Он оказал огромные услуги царскому правительству в борьбе с революционным движением; об огромности и ценности этих услуг можно судить по тому совершенно необычайному факту, что русское правительство цареубийцу, смертника, а потом вечного каторжника, выпустило на свободу всего на всего через два года с небольшим со дня вынесения смертного приговора. Поправив свое здоровье на Кавказе, и по мере возможности, поработав для жандармского управления, „Александров" был призван с 1889 года на стезю провокаторского служения в Петербург, где и стал личным агентом директора департамента полиции Дурново. Негласным сотрудником сего учреждения он оставался вплоть до революции: он успел получить свое жалованье (150 руб. в месяц) уже в феврале 1917 года. В 1891 году его труды были увенчаны дарованием ему звания личного почетного гражданина под именем Ивана Александровича Петровского. Надо думать, что не случись революции Иван Александрович Петровский дослужился-бы до 50-летнего юбилея своей предательской и провокаторской деятельности и наверно получил-бы и приличную пенсию, а может быть даже и чин.

Это превращение революционера рабочего Окладского в предателя и провокатора Окладского является психоло-

гической загадкой, которая разрешима только в плане боязни смерти. Я не верю ни одному слову в рассказе Окладского о жестоких истязаниях, которым он подвергался в крепости и которые сломили его твердую волю. Приходится взять под защиту царское правительство и царских приспешников конца 1880 и начала 1881 годов и сказать, что зверства, измышленные Окладским, не могли иметь и не имели места в действительности. Чрезвычайно странным представляется стремление Окладского именно так об'яснить свое предательство, когда есть иное и очень простое об'яснение. Что-же может быть страшнее смерти? Ведь это же страшнее ледяных ванн и побоев. Смерть для Окладского была неизбежна, но ему посулили жизнь за предательство. Он и купил жизнь этой ценой. С этого все и началось, а затем все пошло, как по маслу. Предательство за страх превратилось в предательство за совесть. Из соратника Желябова этот человек стал преданным сподвижником Дурново.

Двойную жизнь вел потомственный почетный гражданин Иван Петровский. Для всех окружающих, для семьи он был Петровский и только. Никто и не подозревал, что Петровский, как феникс, возник из пепла Окладского и что Петровский—негласный сотрудник! Так и дожил-бы тихий старик-мастер до мирной старости, до кончины безболезненной, непостыдной и мирной! Но пришла революция и выпрямила линию жизни Петровского. Уничтожен двойственный характер существования гражданина Петровского, и Петровский воссоединен в своем бытии с Окладским.

В настоящей книге дана обширная автобиография, которую написал Окладский в заключении. Этому своеобразному документу нельзя отказать в интересе, но несомненно он должен подвергнуться солидной исторической критике, прежде чем будет пущен в исследовательский оборот. Конечно, в нем немало фактических сообщений, больших подробностей, которые соответствуют действительности. Это все такие детали, которых измышлять не было исключительной надобности Окладскому. Но вымысел в его признаниях—на-лицо, и не в малом количестве,—на всех тех страницах, где Окладский стремится сознательно к преуменьшению своих преступлений и к оправданию их. С этой точки зрения и должны быть подвергнуты критике его признания.

П. Щеголев.



Судьба Ивана Окладского.

I.

Среди таинственных страниц „Книги для записи арестованных при III отделении" одна останавливает внимание нарочитой и сугубой таинственностью. На странице 39-й мы находим характернейшую запись.

Имя и фамилия заключенного, вписанные в первую рубрику, как это и полагалось, дежурным поручиком Кондыревым, а также собственноручная расписка арестанта к сдаче им вещей,—на следующий день, по распоряжению директора деп. гос. полиции (В. К. Плеве), были настолько тщательно „затушеваны" чернилами, что даже фотографическим способом не поддаются восстановлению, и прочтены, следовательно, быть не могут.

Бросается в глаза также и то, что при доставленном из крепости заключенном препровождены были также и все его вещи, до провизии и табаку включительно.

Помимо перечисленных в приемной ведомости, были еще и другие какие-то его вещи, полученные из деп. гос. полиции и сданные таинственному узнику при передаче его—по приказу директора д-та В. К. Плеве—известному сотруднику Судейкина Янковскому. Узник просидел при III отделении тоже необычно долго, и был сдан Янковскому только в 6 час. вечера 31-го декабря, под Новый год. Это тоже что-то выходящее из нормы, т. к. даже и III отделение в торжественные дни свои текущие дела прекращало.

Все это в совокупности указывает, что, вопреки нормальным условиям тюрьмы при III отделении, таинственный узник оканчивал свои тюремные мытарства этой тюрьмой, а не начинал их ею, как это бывало с другими.

Кто-же этот таинственный заключенный „без имени", сидевший в комнате № 4?



Окладский в молодости. 1880 г.

II.

В „процессе 16-ти террористов", разбиравшемся петербургским военно-окружным судом 25-30 октября 1880 г., в числе главных обвиняемых (в цареубийстве) был Иван Федорович Окладский, державшийся на суде весьма гордо и даже дерзко, явно бравируя положением человека, которому грозит смертная казнь....

И. Ф. Окладский—мещанин псковской губ.—воспитывался в уездном училище, но курса его не окончил. По профессии он был до ареста слесарем. Арестован в Петербурге 4-го июля 1880 г. По оговору известного Гольденберга Окладский принимал непосредственное участие, осенью 1879 г., в покушении взорвать императорский поезд под г. Александровском, Екатеринослав. г.

На предварительном следствии Окладский признал, что „в начале октября 1879 г., в бытность свою в Харькове, он, по предложению Гольденберга, согласился принять участие в работах по устройству взрыва динамитом полотна жел. дороги под Александровском, при обратном следовании царя из Крыма в Петербург. Означенное согласие им дано было после того, как Гольденбергу удалось убедить его, что деятельность социалистов возможна только тогда, когда начнется другое царствование. Он приступил к изготовлению для динамита медной трубы, причем в этой работе ему помогал рабочий Николай [1]), которому о назначении этой трубы ничего известно не было; по окончании этой работы он отправился в г. Александровск и поселился на отдельной квартире.

[1]) Хрущ, осужд. в 1880 г. в каторжные работы по Киевскому проц. В 1882 г. арест. был вместе с Н. Мышкиным во Владивостоке, после побега в Кары.

Вскоре по приезде он, вместе с Тихоновым и „Борисом" (Желябовым), приступил к заложению мины под полотно жел. дороги, просверлив отверстие в насыпи и введя туда сделанную им медную трубу, наполненную динамитом. При этом динамита оказалось недостаточно, и часть трубы была наполнена песком. За несколько минут до проезда императорского поезда он, под'ехав на телеге вместе с „Борисом" и Тихоновым к тому месту, где находились концы проволоки, достал их из земли и передал „Борису"; затем, вложив в батарею цинковые и угольные пластинки, стал наблюдать за приближением поезда, и и когда над миной прошло несколько вагонов, он дал сигнал „Борису" [1]), причем, хотя последний тотчас же сомкнул цепь, взрыва не последовало. После неудавшегося взрыва спираль Румкорфа, проволока и батарея были переданы им на хранение в г. Харькове воспитаннику Александру Сыцянко".

На суде, на вопрос председательствующего о вероисповедании, Окладский заявил, что его вероисповедание „Социалистическо-революционное"; засим он признал себя членом Народной Воли и подтвердил, что участвовал в попытке взорвать поезд. „Но если взрыв не произошел, то это не от меня зависело",— прибавил подсудимый. Признав, что о покушении при помощи взрыва ему известно было еще в Харькове, Окладский старался на суде даже выгородить Преснякова, которого Гольденберг оговаривал, что он участвовал в предварительных совещаниях в Харькове и в самом покушении под Александровском.

В своей речи Окладский сказал: „в деле, по которому я обвиняюсь, нет свидетельских показаний, которые уличали бы меня в том, что я, действительно, пытался взорвать императорский поезд. Есть одно показание Гольденберга, в котором он говорит, что одна труба сделана мною, и что я принимал в этом участие; но он не подтверждает своего показания фактами, так что оно совершенно голословно. Для обвинения меня существует лишь мое собственное сознание, которое, однако, мною было дано не потому, чтобы я раскаивался и желал облегчить свою участь, о чем я никогда не думал". Затем,—говорится в отчете о „процессе 16-ти",— подсудимый стал излагать столь неуместные рассуждения, что председатель признал нужным лишить его слова".

В последнем своем слове Окладский сказал: „я не прошу и не нуждаюсь в смягчении своей участи; напротив, если суд смягчит свой приговор относительно меня, я приму это за оскорбление".

Итак, поведение Окладского на следствии и на суде было весьма гордое.

Но, ничто не вечно под луною. В. Л. Бурцев, говоря о дальнейшей судьбе обвинявшихся в „процессе 16-ти", об Окладском писал: „еще хуже кончил Окладский: в 1881 г. он подал прошение о помиловании, дал показания, и его выпустили на свободу... Он жил где то на Кавказе..." О том, что Окладский давал впоследствии откровенные показания

[1]) Закричав: „жарь!" Н. Т.

и что он жил затем на Кавказе, известно было еще ранее, в конце 80 гг.

Но почему и как он попал на Кавказ,— сведений об этом до сих пор не имелось.

III.

В архиве б. департамента полиции найдено два дела „о секретном сотруднике д-та полиции Иване Александровиче Петровском". Вначале вопрос идет о высочайшем пожаловании ему личного, а затем потомственного почетного гражданства и, наконец, о назначении ему пенсии. Мы расскажем перипетии этого любопытного дела потом, а теперь приведем „справку" о „Петровском", приложенную к делу № 135 (секретаря) за 1903 г.

„Справка" эта была составлена в октябре 1902 г. особым отделом (секретным) д-та полиции по просьбе 1-го делопроизводства тогоже д-та, но не была в последний передана, а была лишь пришита к „делу И. А. Петровского", так что тайна о „Петровском" не вышла за пределы самого секретнейшего отделения самого секретного учреждения царской администрации.

Справка. „Негласный сотрудник департамента полиции Иван Александрович Петровский, личный почетный гражданин, происходит из мещан [1]). 30 октября 1880 г. решением С.-Петербургского военно-окружного суда, за государственное преступление, приговорен к смертной казни через повешение. Наказание это было в ноябре 1880 г., по монаршему милосердию, заменено бессрочной каторгой.

Затем, так как Петровский под влиянием убеждений лиц, производивших дознание, вступил на путь полной откровенности и сообщил весьма ценные для правительства сведения, то ему каторга была заменена сперва (24 июня 1881 г.) ссылкой на поселение в Вост. Сибирь, а затем (15 октября 1882 г.) ссылкою на Кавказ [2]). Наконец, 11 сентября 1891 г. Петровскому, во внимание значительных его заслуг по раскрытию государственных преступлений, всемилостивейше даровано было полное помилование с представлением звания личного почетного гражданина и настоящих имени, отчества и фамилии.

Благодаря указаниям и содействию Петровского были обнаружены:

1) В 1880 г. две конспиративные квартиры в С.-Петербурге, из коих в одной помещалась тайная типография, а в другой изготовлялся динамит, а также заложенная под Каменным мостом, на Гороховой ул., мина—две гуттаперчевые подушки с динамитом и приспособлениями для взрыва, и

2) в 1881 г. личности задержанных после злодейского преступления 1 марта злоумышленников были обнаружены, главным образом, при негласном пред'явлении их Петровскому.

На Кавказе Петровский старался также, по мере возможности, быть полезным местному жандармскому управлению.

[1]) Не указано, какого города или местечка, как это обычно делается.

[2]) После этого вскоре и переведен был из крепости в II отд. таинственный узник.

Последовательность направления деятельности Петровского, на пути преданного отношения к правительству, послужила основанием к вызову его в 1889 г. с Кавказа в С.-Петербург, где он и оправдал оказанное ему доверие тем, что успешно завязал связи с некоторыми деятелями Спб. революционного кружка Истоминой и, кроме того, обнаружил главных деятелей революционной пропаганды среди заводских рабочих в С.-Петербурге.

Петровский, со времени дарования ему в 1891 г. звания личного почетного гражданства, выслужил требуемый по закону 10-тилетний срок и потому может быть представлен к награждению званием потомственного почетного гражданина, но не в обычном порядке, чрез наградной комитет, а по установившейся для таких лиц особой практике — путем особого всеподданнейшего доклада министра внутренних дел".

По данным этой справки легко установить, кто такой Иван Петровский.

30 октября 1880 г. С.-Петербургский военно-окружной суд вынес приговор по „процессу 16-ти", причем к смертной казни приговорены были: Александр Александрович Квятковский, Андрей Корнеевич Пресняков, Степан Григорьевич Ширяев, Яков Тихонович Тихонов и Иван Федорович Окладский. Первые двое были казнены 4-го ноября того-же года в Иоанновском равелине Петропавловской крепости, а Ширяева, Тихонова и Окладского царь помиловал 2-го ноября, заменив им смертную казнь бессрочной каторжной работой; С. Ширяев умер в Алексеевском равелине 16 сентября 1881 г.; Я. Тихонов умер в Каре летом 1882 г.; в живых остался лишь И. Окладский, так гордо заявивший на суде: „я не прошу и не нуждаюсь в смягчении моей участи; напротив, если суд смягчит свой приговор относительно меня, я приму это за оскорбление".... Он и есть, следовательно, И. А. Петровский—ревностный секретный сотрудник д-та полиции до.... 1917 года.

Окладский, повидимому, тотчас-же после приговора принес свою повинную...

Две конспиративные квартиры, обнаруженные им, находились: одна на Б. Под'яческой, 37, кв. 27, где приготовлялся динамит (там жили: Гр. Исаев, А. Якимова и Т. Лебедева), и вторая—по Подольской, 11, кв. 21, где одно время помещалась тайная типография; в ней работали М. Грачевский, П. С. Ивановская и Людмила Терентьева. В ней же одно время проживал, кажется, и Н. Кибальчич. Обнаружены были эти квартиры, впрочем, уже тогда (во второй половине января 1881 г.), когда они были оставлены революционерами.

Возникает вопрос, как мог знать об этих квартирах Окладский, арестованный еще в июле 1880 г.

Косвенное указание имеется и на это в одном запросе, сделанном 26 ноября 1881 г., за № 9791, комендантом Петропавловской крепости директору д-та полиции В. К. Плеве.

Комендант крепости ген.-лейт. Ганецкий сообщает, что 25 октября им принята от шт.-капитана Домашнева дочь колл. ассесора Ольга Любатович и, согласно письма В. Плеве от 10 ноября (О. Любатович арестована была в Москве 6-го ноября), заключена в отдельный каземат Екатерининской куртины 1.

Затем ген. Ганецкий спрашивает: „прошу уведомить, следует-ли переводить из Трубецкого бастиона в соседний с Любатович каземат преступника Ивана Окладского с позволением, в случае их желания, войти между собою в сношение"—Плеве положил резолюцию на сем запросе:—„уведомить, что да".

Из этой переписки видно, что Окладского подсаживали в соседи к нужному для д-та заключенному, который, как лично знакомый с Окладским еще по воле, конечно, доверял ему, по старой памяти, и поэтому был с ним откровенен.

Повидимому, адреса конспиративных квартир и стали известны Окладскому благодаря кому-либо из соседей, которым его роль предателя не была известна в это время.

Мины под Каменным мостом, на Гороховой улице, заложены были в начале лета 1880 г., в виде двух гуттаперчевых подушек, наполненных гремучим студнем и спущенных на дно Екатерининского канала. Провода были прикреплены к плоту, стоявшему около моста. Взорвать мину предполагалось во время проезда царя с царскосельского вокзала в Зимний дворец. С этой целью в назначенный день Макар Тетерка должен был, неся на себе корзину, наполненную картофелем, со скрытою в нем гальванической батареей, спуститься к плоту и начать промывать картофель, а Желябов должен был, в момент проезда царя через мост, произвести взрыв.

Покушение не удалось вследствие того, что царь выехал в Ливадию прямо из Царского Села, не заезжая в Петербург.

После этого решено было выловить обратно гуттаперчевые подушки, во избежание случайного несчастья, но попытка эта террористам не удалась, т. к. употребленные для вылавливания якоря оказались слишком короткими.

Вот эту-то мину и выдал, как оказывается, Окладский. „Неизвестные", задержанные после 1 марта, также показывались, как оказывается, „негласно" Окладскому, и имена их были обнаружены „главным образом" при его участии.

Обыкновенно такое опознание „неизвестного" производилось в крепости, в доме предварительного заключения след. образом: к глазку в двери подводился сыщик или предатель и осматривал заключенного, не подвергаясь риску быть им узнанным, т. к. кроме его глаза заключенный ничего увидеть не мог.

После этого, уже на Кавказе, Окладский (под фамилией Александрова) работал в железнодорожном депо, кажется, в Тифлисе или Александрополе, и „старался быть полезным" жандармам, как говорится в „справке" Несколько его „крестников" разновременно попадали в сибирскую ссылку, в конце 80 г.г. после знакомства с „Александровым"... К концу 80 г.г. в сибирской ссылке уже достоверно известно было, что Окладский живет на Кавказе, под фамилией Александрова.

О деятельности Окладского в 1889—90 г.г. в Петербурге имеются некоторые указания в докладах директора деп. полиции П. Н. Дурново м-ру внутр. дел. Доклады эти переда-

вались последним Александру III, и на каждом из них имеется знак рассмотрения или даже царские замечания. Доклады представляют собою резюме „розыска“ за известное время, и в них излагаются планы и предположения, как наилучше обставить дело о покушении и захватить преступников с поличным...

За эти годы главным действующим лицом в секретной агентуре является Ландезен-Гекельман, но фигурирует также и так называемый „наш техник“, т. е. Окладский.

Первый раз он упоминается 11 февраля 1890 г. Очевидно, в это время „техник“, уже выписанный с Кавказа, отрекомендован был кружку Истоминой Ландезеном, незадолго до этого побывавшим в Петербурге.

В докладе значится:

„Что касается нашего „техника“, то до сего времени к нему никто не являлся, чем, несомненно, доказывается чрезвычайная осторожность здешней компании“.

14 марта 90 г. докладывается:

„В течение этого времени и наш „техник“ начинает выступать на сцену. 20 февраля, более нежели через месяц после от‘езда Ландезена, к „технику“ явился студент Бругге, квартира которого служила местом свидания Ландезена с Фойницким. Бруггер заявил, что одна дама очень интересуется с ним познакомиться, беседовал о рабочих и пригласил его притти 4 марта к себе. В назначенный день „техник“ посетил Бруггера, который снабдил его революционными книжками и просил „техника“ раздать эти книжки рабочим. Серьозных разговоров не было, и Бруггер выразил намерение посетить „техника“ в пятницу 16 марта. „Я может быть приду не один“,— прибавил он.

„Так как я могу видеться с „техником“,— продолжает П. Н. Дурново,—только у себя на квартире, то мне приходится избегать частых свиданий, ибо квартира моя известна очень многим, и „техник“ легко может попасться. Поэтому он весьма благоразумно, не имея ничего существенного, и воздерживался приходить ко мне до самых последних дней“.

„В заключение обязываюсь присовокупить, говорит П. Н. Дурново, — что аресты в тех случаях, когда сведения исходят от лица, стоящего в ближайших сношениях с революционерами, приходится, очевидно, откладывать до тех пор, пока не попадется какая-нибудь прямая нить от известных уже фактов к людям, задетым исключительно секретными указаниями“.

Далее в докладе следует наглядный пример, как было в аналогичном случае недавно поступлено с двумя студентами, которых долго не трогали, поджидая посторонних указаний на них.

В докладе 26 апреля 90 г. сказано:

„На прошлой неделе, в пятницу, к „технику“ явилась какая-то молодая женщина, об‘явившая, что она пришла от Егора Егоровича Бруггера. После общих разговоров о положении революционного дела, она заявила, что последовательное совершение террористических актов представляется единственным способом успешной борьбы с правительством. По ея словам люди для этого есть и еще будут. Способы покушений должны зависеть от обстоятельств, но снаряды, наполненные панкластитом, представляются наиболее удобными. Никаких определенных указаний она „технику“ не давала, видимо стараясь выяснить себе его убеждения. В заключение она просила уведомить Бруггера, если „техник“ переменит квартиру.

По пред‘явлении „технику“ фотографической карточки Истоминой, он признал в ней вышеупомянутую женщину“.

В докладе 10 мая 1890 г. сообщается: „Перед от‘ездом (в Пензу) Истомина писала „технику“, прося его притти с ней повидаться, но вследствие недоразумения, свиданье не состоялось, „техник“ продолжает поддерживать сношения с Бруггером, который намерен познакомить его с другими лицами. Следующее свидание назначено на воскресенье, 13 мая“.

Следует отметить, что, начиная с 19 апреля, доклады подписываются уже министром внутр. дел П. Дурново и лично им докладываются царю.

К концу мая 90 г.г. все лица, принадлежащие к кружку Истоминой и Фойницкого были арестованы, и дальнейших сведений о провокаторской деятельности П. Окладского в докладах уже не встречается.

Долголетние важные услуги Окладского-Петровского д-ту полиции, о которых знал сам царь, несомненно, заслуживали поощрения и награды.

В „деле“, к сожалению, отсутствуют всеподданнейшие доклады министра внутр. дел о даровании „Петровскому“ звания личного почетного гражданина (11 сентября 1891 г.) и потомственного почетного гражданина (31 июля 1903 г.). Сохранились лишь их конверты. Самое „дело“ начинается докладной запиской П. Н. Дурново министру вн. дел, в которой министр предупреждается им, что редакция посылаемого на его подпись рапорта в сенат о высочайшем пожаловании Петровскому личного поч. гражданина, составлена по личному соглашению П. Н. Дурново с герольдмейстером (Н. И. Непорожневым).

Несмотря, однако, на это „соглашение, имевшее, конечно, в виду избежать необходимость представлять документы, удостоверяющие личность „Петровского“, с выдачей последнему грамоты на звание личного почетного гражданина вышла все-же заминка.

В указе сената (23 октября 1891 г.) было сказано, „что если-бы (Петровский) пожелал получить свидетельство на личное почетное гражданство, то он обязан представить в сенат (гербовые пошлины)... и метрическое свидетельство, которым-бы удостоверялась его личность“...

Выдавая весьма часто своим секретным сотрудникам и агентам подложные паспорта, д-т полиции не решался заняться подлогами и таких документов, как метрические свидетельства.

Необходимо было обойти это препятствие, и к герольдмейстеру Непорожневу командируется делопроизводитель д-та полиции Семягин. В результате, „согласно преподанным Н. И. Непорожневым указаниям“, „Петровский“

подал прошение о выдаче ему свидетельства на пожалованное звание не в сенат, а в д-т полиции, который и препроводил его прошение к герольдмейстеру при своем отношении (за № 4626), с представлением всех пошлин и гербового сбора и с просьбой „препроводить свидельство в д-т полиции для выдачи просителю“.

При этом д-т удостоверил, что И. А. Петровский есть именно то лицо, в отношении которого последовало высочайшее повеление 11 октября 1891 г.

Этим избегнут был неприятный вопрос о метрическом свидетельстве „Петровского“.

После этого свидетельство „Петровскому“ герольдмейстер препроводил в д-т полиции, и оно было передано там П. Н. Дурново, о чем и сделана на препроводительной бумаге надпись. Последний, как мы видели, вел личные сношения с „Петровским“ и, очевидно, лично передал ему это свидетельство.

Прошло после этого одиннадцать лет, в течение которых Петровский командировался с розыскными целями в разные места России, и вот он снова подает докладную записку своему непосредственному начальнику, заведывающему секретными сотрудниками, его превосходительству Леониду Александровичу Ратаеву; в этой записке „Петровский“ просит Ратаева ходатайствовать перед г. директором д-та полиции о предоставлении ему звания потомственного почетного гражданина. На удовлетворение просьбы последовало согласие сначала директора департамента полиции, затем министра внутренних дел и, наконец, бывшего царя (31 июля 1903 г.).

28 августа состоялся указ сената, в котором о метрическом свидетельстве „Петровского“ уже не упоминалось, а требовалось лишь удостоверение личности его, „выданное начальством настоящего или бывшего места служения его, или местной полицией“.

Такое удостоверение и выдано было 7-го сентября „Петровскому д-м полиции, где он глухо обозначен был служащим в д-те полиции“. Удостоверение вручено на этот раз было самому Петровскому, который лично и получил из д-та герольдии грамоту на потомственное почетное гражданство.

Характерна еще следующая подробность: уже вручив Петровскому удостоверение о личности, сенатор Дурново, заведывавший в то время д-м полиции, сообщил 11 сентября градоначальнику об об'явлении Петровскому о высочайшей милости (Петровский жил тогда по Таракановскому пер., в д. № 6) и о порядке получения им грамоты, удостоверения о личности и проч.,—одним словом, всего того, что уже было исполнено самим д-м полиции.

На этом „дело об И. А. Петровском“ и заканчивается.

Через несколько лет ему начали выдавать пенсию, достигшую в последние годы 150 руб. в месяц.

Последний раз Петровский получил ее из д-та полиции перед самой февральской революцией... Итого 37 лет секретного сотрудничества.

Н. Тютчев.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

И. А. Петровскаго.

Имѣю честь покорнѣйше просить ходатайства Вашего Превосходительства передъ Господиномъ Директоромъ Департамента Полицiи о представленiи меня къ званiю потомственнаго почетнаго гражданина.

И. Петровский

Его Превосходительству Леониду Александровичу РАТАЕВУ.

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ОБ ИВАНЕ ОКЛАДСКОМ (он-же Иванов, он-же Александров, он-же Петровский).

Конец 70-х годов отмечен был обострением классовых противоречий, вызвавших, с одной стороны, усиление репрессий Правительства, а с другой—накопление сил, и наметившимся пересмотром методов революционной борьбы. После покушения на Александра II-го, учиненного Соловьевым 2-го апреля 1879 года, Россия в административном отношении разделена была на шесть территориальных об'единений, которые вверены были в порядке управления шести генерал - губернаторам, снабженным почти неограниченными полномочиями, с уничтожением элементарных гарантий, что, быть может, лишь ускорило процесс политической борьбы.

Уже весной 1879 года, передовые и активные круги наиболее мощной в то время революционной организации — Земля и Воля, будучи не удовлетворены господствовавшими в верхах ея взглядами на методы борьбы и воспользовавшись предстоящим в Воронеже партийным с'ездом, созвали прелиминарный с'езд в Липецке. Туда были приглашены не только террористы организации Земля и Воля, но и влиятельные революционеры из других кружков и мест, связанные между собою сознанием необходимости выдвинуть на первый план политический момент, централизировать организацию и оживить активную борьбу с Правительством.

С'езд этот, состоявшийся 17-21 июня 1879 года, представлен был Желябовым, Михайловым, Тихомировым, Колодкевичем, Фроленко, Морозовым, Квятковским, Анной Павловной Прибылевой-Корба и др., и на нем собственно предрешено было образование новой террористической организации, названной несколько позднее Народной Волей, которая по сконструировании партии и вынесла смертный приговор Александру II-му. Приговор должен был быть приведен в исполнение при проезде императорского поезда из Ливадии в Петербург, для чего производились подготовления под Одессой, Александровском и под Москвой. Организация покушения под Александровском была поручена Желябову, который, в свою очередь, привлек к этому делу, между прочим, и Ивана Окладского, имевшего к тому времени уже революционное имя. Как известно, 18-го ноября 1879 года, Желябов сомкнул цепь гальванической батареи, но взрыва по неизвестной тогда причине не последовало, после чего участники покушения—Желябов, Анна Васильевна Якимова, Пресняков, Тихонов и Окладский раз'ехались и последний в самый разгар выполнявшейся им, под руководством Желябова, революционной работы по организации новых покушений, летом 1880 года в Петербурге был арестован.

Из осмотра заслушанного Петербургским Военно-Окружным Судом 25-30 октября 1880 года дела о шестнадцати террористах видно, что подсудимые Квятковский, Пресняков, Ширяев, Тихонов и Окладский приговорены были, по лишении всех прав состояния, к смертной казни через повешение, каковой приговор в отношении Преснякова и Квятковского, 4-го ноября 1880 года, в бастионе левого полуконтргарда Иоанновского равелина Петропавловской крепости был приведен в исполнение, а Тихонову, Ширяеву и Окладскому смертная казнь заменена была каторжными работами без срока.

Из осмотра обвинительного акта, заслушанного Особым Присутствием Правительствующего Сената в заседаниях от 26-29 марта по делу 1-го марта, видно, что в нем имеются следующие положения: „При производстве совокупного расследования по делам о предшествовавших покушениях на жизнь священной особы ныне в бозе почившего государя императора 2-го апреля, 18-го и 19-го ноября 1879 и 5-го февраля 1880 г., были обнаружены данные, последовательный ряд которых приводил к предположению о задуманном

и уже готовящемся в среде известных по прежним делам преступных деятелей, новом, таком же посягательстве, а при возникновении настоящего дела выяснились указания на принадлежавших к этой среде истинных защитников и руководителей злодеяния 1-го марта 1881 года. Из имеющихся в настоящем деле сведений об означенных данных, составляющих предмет еще производящегося, но уже близкого к окончанию особого дознания, видно, что в ноябре 1880 г. был арестован дворянин Александр Михайлов, проживавший под фамилией Поливанова, при обыске у которого найден динамит и другие предметы, свидетельствующие о его преступной деятельности. Вслед за тем, при дальнейших розысках, были обнаружены занимаемые членами партии две квартиры, из которых в первой, по Б. Под'яческой ул., д. № 37, приготовлялся динамит, а во второй—по Подольской улице, д. № 11, помещалась тайная типография. Посетители этих квартир, проживавшие под чужими именами и по подложным видам на жительство, были задержаны, причем в числе их оказались известные по прежним розыскам и процессам агитаторы Фриденсон (Агаческулов), Баранников (он же Кошурников и Алафузов) и Колодкевич (Петров). Затем результаты исследования привели к заключению, что в кружке означенных лиц играли видную и влиятельную роль проживавший под своим собственным именем действительный студент Михаил Тригони и крестьянин Таврической губ., Феодосийского уезда, деревни Николаевки, Андрей Иванов Желябов, разыскиваемый по обвинению в покушении на жизнь его императорского величества, совершенном 18-го ноября 1879 года близь гор. Александровска, Екатеринославской губ. Желябов был арестован 27-го февраля сего года одновременно с Тригони, в квартире последнего, на углу Невского проспекта и Караванной улицы, в доме Лихачева"...

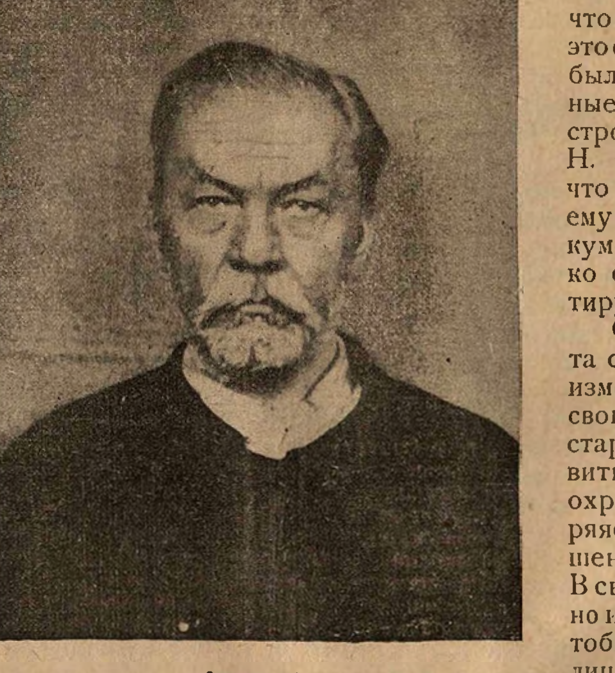
Секретные документы бывш. департамента полиции и, в частности, всеподданнейший доклад министра внутренних дел от 11-го сентября 1901 г., констатируют, что: „...По высочайшему милосердию", определенная Окладскому судом смертная казнь в ноябре 1880 года была заменена каторжными работами без срока. Оставаясь затем, в течение некоторого времени в Петербургской крепости, Окладский, под влиянием убеждений лиц, производивших дознание по политическим делам, вступил на путь полной откровенности и сообщил весьма ценные для правительства сведения. По указаниям Окладского, обнаружены две конспиративные квартиры, в одной из коих летом 1880 года помещалась тайная типография, а в другой изготовлялся динамит. Розыски лиц, проживавших в этих квартирах, имели прямым последствием задержание нескольких видных деятелей преступного сообщества, а именно: Фриденсона, Баранникова, Колодкевича, Клеточникова и, наконец, Тригони, в квартире которого был арестован Андрей Желябов. Из дальнейших показаний Окладского было выяснено, что летом 1880 года злоумышленники заложили мину под одним из мостов на Гороховой улице и благодаря этому указанию под Каменным мостом были действительно обнаружены две гуттаперчевые подушки с динамитом и приспособлениями для взрыва. Наконец, после злодейского преступления 1-го марта 1881 года, личности задержанных под ложными фамилиями злоумышленников, обнаружились, главным образом, при негласном пред'явлении их Окладскому..."

В конце прошлого года в Ленинградском Губернском Отделе ОГПУ получены были сведения, что прибывший в конце 1922 года из Центральной России на жительство в Ленинград и поступивший на службу на Мурманскую жел. дорогу в качестве Начальника электротехнической мастерской Петровский действиями своими вызвал недовольство рабочих, обеспокоенных упорными слухами о причастности его к бывш. департаменту полиции. Кроме того, в виду явного несоответствия его занимаемой должности он был уволен с исключением из списков членов Союза Железнодорожников. После этого Петровский, поступив на службу на находящийся в ведении Северо-Западных ж. д. завод „Красная Заря" и указав в заполненной им анкете на

принадлежность свою в 80-х годах к партии Народная Воля и на репрессии, коим он подвергался при царском правительстве, в виде заключения в Петропавловскую крепость в течение 2-х лет, линией поведения своего вызвал среди рабочих те-же подозрения, вследствие чего обратил на себя серьезное внимание. Последствием этого было получение из Политической Секции Единого Архивного Фонда уведомления о том, что если интересующее ГПУ лицо имеет перечисленные признаки, то это знаменитый провокатор времени „Народная Воля" Окладский, судившийся в 1880 году по процессу „Шестнадцати".

В виду исключительного совпадения описанных Архивным фондом примет последний был вызван в ГПУ.

Допрошенный первоначально Петровский, отрицая какую-бы то ни было связь с революционными кругами и партиями, об'яснил, что фамилию „Петровский" он носит со дня своего рождения и никакой другой фамилии никогда не носил; что с 1878 г. по 1882 и последующие годы он служил на Закавказских ж. д. и на заводе Сименс и Гальске и что о принадлежности своей к Народной Воле и о репрессиях, коим он подвергался, он упомянул в анкете от 11-го ноября 1922 года, „так как это давало гарантию удержания на службе".



Окладский.
Снимок, сделанный в 1924 г. после ареста.

Еще энергичнее отрицал он какую-бы то ни было связь свою с отдельным корпусом жандармов и департаментом полиции, реагируя на задававшиеся ему по этому поводу вопросы, как на вопросы, содержавшие в себе личное оскорбление.

Лишь после того, как ему была пред'явлена фотографическая карточка, снятая с него в дни его молодости жандармами, (см. стр. 457—458), после того, как перед ним предстала собственноручно написанная им на имя „его превосходительства Ратаева" докладная записка, (см. стр. 465—466), в коей он ходатайствовал о даровании ему некоторых сословных преимуществ и после того, как он был ознакомлен с целым рядом документов, коими с несомненностью устанавливалась тождественность его, Петровского, с привлекавшимся в 1880 г. по делу „Шестнадцати" небезизвестным Окладским, он согласился, что действительно является Окладским, что действительно это ему посвящены были напечатанные в „Былом" строки покойного Н. С. Тютчева и что пред'явленные ему только-что документы несколько его компрометируют.

С этого момента он совершенно изменил характер своих показаний, стараясь представить себя жертвой охранки и изощряясь в преуменьшении своей вины. В своей пространно изложенной автобиографии он лишь более подробно излагает историю своего падения, своими измышлениями искажая историческую действительность. Сердце испытанного охранника дрогнуло перед грозящей ему ответственностью.

Привлеченный на предварительном следствии в качестве обвиняемого по признакам 67 ст. УК, Окладский, не признавая себя виновным, об'яснил, что вину свою перед рабочим классом он уясняет себе лишь в том, что выдал в начале 1881 года две конспиративные квартиры партии Народная Воля на Подольской и Б. Под'яческой улицах, указал место заложения мин под Каменным

мостом и оказал еще некоторые мелкие услуги царскому правительству, которые, однако, не дают ему оснований рассматривать свои действия, как вред, причиненный революционному движению России.

Из обозрения дополнительного обвинительного акта по делу 1-го марта, которым предан был суду Кибальчич, видно:

„...При производстве еще неоконченного дознания о дворянине Александре Михайлове и др., собраны, между прочим, сведения о том: 1) что в квартире Кибальчича, в доме № 11-й по Подольской улице, помещалась тайная типография, и 2) что посещая в течение первой половины 1880 года другую конспиративную квартиру по Под'яческой улице, в доме № 37, Кибальчич занимался в ней приготовлением динамита; это последнее обстоятельство не опровергается и самим Кибальчичем...“

Из обозрения обвинительного акта по заслушанному Особым Присутствием Сената 9-15 февраля 1882 года делу по обвинению „Двадцати Народовольцев“ в государственных преступлениях усматривается: „В конце января 1881 года полицейские розыски обнаружили, что участниками этого сообщества были наняты в С.-Петербурге две так называемые конспиративные квартиры, из которых в одной, на Большой Под'яческой улице, д. № 37, кв. № 27, происходило приготовление динамита для задуманного членами сообщества злодеяния, а на другой, на Подольской ул., д. № 11, кв. № 21, помещалась тайная типография революционного издания „Народная Воля“. При открытии и осмотре означенных квартир, оказалось, что они оставлены уже своими жильцами. 24-го января 1881 года теми-же розысками обнаружено, что по Казанской улице, в доме № 38, кв. № 18, проживает неизвестное лицо под тою-же фамилией Агаческулова, под которой был записан жилец в вышеупомянутой конспиративной квартире № 21 в доме № 11, по Подольской ул. По задержании этого неизвестного, с производством у него обыска, по которому найдены разные противоправительственные издания, он оказался купеческим сыном Григорием Михайловым Фриденсоном. Посредством учрежденного за его квартирой особого секретного наблюдения, 25-го января был арестован пришедший к Фриденсону неизвестный человек, назвавший себя при задержании Алафузовым, а в действительности оказавшийся дворянином Александром Ивановым Баранниковым, который розыскивался по обвинению в убийстве генерал-ад'ютанта Мезенцева и в других преступлениях. Посредством того-же секретного наблюдения за квартирой Баранникова, а затем и за всеми другими квартирами, в которых производились последовательные обыски и аресты, были задержаны 26 января в квартире Баранникова дворянин Николай Николаев Колодкевич, а в квартире этого последнего 28-го января чиновник департамента государственной полиции Николай Васильев Клеточников и 29-го января мещанин Лев Соломонович Златопольский. При производстве дальнейших розысков были получены сведения о том, что одним из наиболее выдающихся руководителей преступной деятельности сообщества является ныне казненный государственный преступник Андрей Желябов, в постоянных и близких сношениях с которым находится лицо, пользующееся большим влиянием среди революционеров, которое носит прозвища „Милорда“ и „Наместника“ и проживает „легально“, т. е. под своею настоящей фамилией. Означенные розыски, направленные к задержанию Желябова и „Милорда“, имели первоначальным результатом арест 28-го января лица, которого Желябов и его сообщники снабдили приобретенными на средства сообщества лошадью и санями и которое должно было в качестве легкового извозчика содействовать исполнению их преступного замысла; лицом этим оказался проживающий в Петербурге под фамилией Веселовского мещанин Макар Васильев Тетерка. 28-го февраля розыски „Милорда“ и Желябова увенчались успехом. Первый, оказавшийся дворянином Михаилом Николаевым Тригони, был арестован в своей собственной квартире по Невскому пр., № 66, кв. 12, а в тот-же день задержан явившийся в квартиру Тригони Андрей Желябов...“

Министр внутренних дел граф Лорис-Меликов в всеподданейшем докладе от 28-го февраля 1881 года Александру II-му доносит: „Всеподданейшим долгом счи-

таю довести до сведения вашего императорского величества, что... как Тригони, так, в особенности, предполагаемый Желябов категорически отказались на первых порах от дачи всяких показаний, причем предполагаемый Желябов на отрез отказывается указать свою квартиру. К полудню надеюсь раз'яснить его личность через Окладского, которого я приказал снова доставить ко мне из Крепости. Во всяком случае могу доложить, что как Тригони, так и его спутник занимают весьма серьезное положение в революционной среде".

Того-же 28-го февраля при надписи за № 585 начальником Петербургского жандармского управления Комаровым было послано министру внутренних дел нижеследующее донесение: „Арестованный 27-го февраля Михаил Николаевич Тригони был секретно показан Ивану Окладскому, который в нем признал лицо, носившее в революционной среде название „милорда" и „наместника".

Приговором Особого Присутствия Сената 15-го февраля 1882 года по делу „Двадцати Народовольцев": Михайлов, Колодкевич, Суханов, Клеточников, Фроленко, Исаев, Емельянов, Тетерка, Лебедев и Якимов приговорены были к смертной казни через повешение; Баранников, Арончик, Морозов, Ланганс и Меркулов к каторжным работам без срока; Тригони, Люстиг, Фриденсон, Златопольский и Терентьева к каторжным работам сроком на двадцать лет, причем приговор в отношении приговоренных к смертной казни был заменен всем, кроме Суханова (ему повешение было заменено расстрелом), каторжными работами без срока.

Из обозрения обвинительного акта по процессу „Семнадцати Народовольцев" видно, что „24-го января 1881 г. при производстве дознания, возникшего вследствие ареста государственного преступника Михайлова, были получены указания, что в начале 1880 года террористы имели в Петербурге две квартиры, из коих в одной, помещавшейся в доме № 37 по Б. Под'яческой улице, приготовлялся динамит, а в другой в доме № 11 по Подольской ул. помещалась тайная типография. В первой из этих квартир проживали неизвестные лица под именами Григория Еремеева, Анны Давыдовой и Марии Поликарповой, а во второй—Василий Агаческулов, жена его Надежда Семеновна и Евгения Климович. Осмотром домовых книг в вышеупомянутых домах удостоверено, что Еремеев, Давыдова и Поликарпова проживали в доме № 37 по Б. Под'яческой ул. с 5-го января по 15-ое июня 1880 г., а Агаческулов с женой и Евгенией Климович проживали в доме № 11 по Подольской улице с 8 мая по 23 июля 1880 года. Означенные сведения подтвердились в главных своих частях показаниями государственных преступников Исаева, Якимовой и Лебедевой, признавших жительство свое в доме № 37 по Б. Под'яческой улице и Кибальчича и Терентьевой, удостоверивших факт проживания их в доме № 11 по Подольской улице, первого под именем Агаческулова, а второй под именем Климович"...

Допрошенные в качестве свидетелей ветераны Революции Якимова, Прибылев, Швецов, Шебалин и Перовский показали:

Анна Васильевна **Якимова**... „Ясно, что все аресты членов партии „Народная Воля" в январе 1881 года были по предательству Ивана Окладского, указавшего квартиру на Подольской улице, хозяин которой проживал под фамилией Агаческулова (Фриденсон), арест которого повлек за собой арест еще 4-х человек—Баранникова, Колодкевича, Клеточникова и Златопольского. На другой день после ареста Клеточникова по его адресу на квартире была получена открытка, в которой Клеточников приглашался на свидание к 5 часам на Невский проспект. Будто-бы потом экспертизой было установлено, что открытка писана рукой Желябова, но я думаю, что вместо Клеточникова на Невский был послан Окладский, который и видел Желябова на Невском. С этого времени и начинаются розыски Желябова и Тригони. Окладский знал, что Тригони в Одессе жил под своей фамилией. Он по справкам оказался в Питере и дальше все было уже очень просто..."

Александр Васильевич **Прибылев**... „Мне известно, что за весь период деятельности „Народной Воли"

никому из членов ее не могло придти в голову мысли об адской измене Окладского. Для этого он слишком хорошо охранялся департаментом полиции, при том-же налицо всегда были похожие на него предатели, на которых легко было сослаться, как на источник провалов организации. Только Революция вскрыла все тайники охранных учреждений и только в 1918 году были впервые опубликованы разоблачения Окладского, под фамилией Петровского. Тогда путем сопоставления фактов старого времени было возможно хоть сколько-нибудь, хоть ощупью об'яснить многие обстоятельства, до тех пор не поддававшиеся освещению. Прежде всего надо иметь в виду, что положение, какого достиг Окладский, — уникум во всей истории охранных отделений при общей скупости царского правительства для использованных уже им шпионов. Положение Окладского могло быть обусловлено только необыкновенно ценными заслугами его перед правительством. А этими ценными услугами могла быть только помощь при ликвидации партии „Народная Воля", серьезно угрожавшей Александру II-му, а потому и Александру III-му. Окладский, человек достаточно осведомленный в партийных делах, мог этому помочь и на него, надо думать, были обращены взоры правительства, быть может, немедленно или вскоре после его ареста. Я не был-бы удивлен, если-бы открылись доказательства того, что Окладский перешел на сторону департамента полиции еще до суда. Тогда для меня было бы понятно его по внешности гордое и независимое поведение на процессе. Тогда он и должен был-бы по указке департамента действовать так, как действовал, чтобы внушить больше доверия к себе со стороны сопроцессников и в то-же время использовать, в интересах охраны, частные разговоры с ними и получить от них новую осведомленность. Но что для меня несомненно—это то, что Окладский сыграл роль настоящего злого гения для партии „Народная Воля", ибо он был явной причиной всех самых серьезных провалов народовольцев конца 1880 и начала 1881 года, начиная с Фриденсона и последовательно вплоть до Тригони и Желябова,—провалов, положивших начало гибели всей партии. Имеющаяся в Вашем распоряжении копия справки об Окладском и доклада министра внутренних дел о награждении его, опирающегося на эту справку, являются для меня непреложным доказательством справедливости моего мнения. Кроме того, не без его участия, по моему мнению, произошел 17-го марта 1881 года арест Кибальчича, выслеженного в библиотеке-читальне генерал-майора Комарова, которая была известна Окладскому и которая часто посещалась народовольцами. Тогда же были арестованы и многие другие лица, видевшиеся с Кибальчичем в этой библиотеке, а на его квартире был захвачен и Фроленко. Целый ряд членов Исполнительного Комитета и его агентов был разом выхвачен из рядов партии и это не могло произойти случайно, без хорошего осведомителя, каковым в то время мог быть только Окладский. В заключение несколько слов по поводу выдумок Окладского о пытках, коим он был якобы подвергнут, чтобы вынудить его на откровенные показания, на предательство. Не подлежит никакому сомнению, что все это чистейшая ложь. Вероятнее всего простой угрозой смертной казни или вечного заточения вместе с его собственной жаждою жизни было достаточно для двадцатилетнего малообразованного мальчишки, чтобы придти к забвению не очень дорогих для него идей, а обещаний легкого обеспеченного существования было довольно, чтобы он решился привести к виселице или на каторгу своих былых старших товарищей"...

Сергей Порфирьевич **Швецов**... „Имя Окладского мне хорошо известно с молодости, именно с 1879--80 г.г., когда оно в революционной среде сразу получило популярность после неудачного покушения на взрыв царского поезда под Александровском 18-го ноября 1879 года, в котором он играл видную роль. Взрыв этот должны были произвести Желябов и двое рабочих—Тихонов и Окладский. Роли Тихонова я не припоминаю, а Окладский должен был следить за проходом царского поезда и в нужный момент сигнализировать Желябову, находившемуся у батареи, что-

бы соединить провода. Окладский дал сигнал, крикнув Желябову: „жарь!". Тот соединил ток, но взрыва не последовало. Это вызвало недоумение как у непосредственных участников покушения, так и лиц, близко к ним стоящих, а затем понемногу расползлось и по всей партии. Тут я впервые услышал имя Окладского. Второй раз оно обратило на себя внимание во время судебного процесса, на котором Окладский выделялся способом держать себя: его поведение на суде было вызывающим, он бравировал своим положением, что производило не особенно благоприятное впечатление, так как, вообще, народовольцы держались на судах с большим мужеством и достоинством, но избегали, конечно, всякой бравады. Окладский был приговорен в числе других к смертной казни, которая затем была ему заменена каторжными работами. Прошло некоторое время—не могу сказать, как оно было велико, может быть несколько месяцев, может быть полгода, не помню — и имя Ивана Окладского вновь выплыло на поверхность: по ссыльным Сибири разошелся слух, шедший из достоверных источников, а потому в истинности своей ни в ком не возбудивший сомнения, что Окладский выдал всех своих товарищей, чем и заслужил помилование; что в тюрьме его уже нет, но где он находился, никто не знал. Прошло еще года два и имя Окладского снова стало предметом живейших разговоров среди ссыльных Сибири: передавали, как не проверенный слух, что его узнали где-то в Закавказьи и что он, как предатель, был убит. Затем на многие годы имя Ивана Окладского совершенно исчезло с горизонта сибирских политических ссыльных, а у многих, вероятно, и из самой памяти. Я, по крайней мере, вновь услышал это имя лет через 25, именно, осенью 1908 года, при том совершенно случайно. Я в это время часто встречался со своим старым товарищем и приятелем Григорием Михайловичем Фриденсоном, бывш. видным народовольцем. Злобой дня в это время для нас была раскрывшаяся провокаторская роль Азефа. Как-то, беседуя на тему о роли провокации в Русской революции, мы перешли к случаям предательства и провокации в прошлом—к Гольденбергу, Дегаеву и др. И вот тут-то я впервые услыхал от Фриденсона, что крупнейшим провокатором и предателем „Народной Воли", предавшим самого Фриденсона, Грачевского и ряд других виднейших народовольцев того времени до Тригони и, косвенно, Желябова включительно является Окладский. Фриденсон об этом передавал с полнейшим убеждением и положительностью. Когда я заметил, что был в середине 80-годов слух об убийстве Окладского на Кавказе, тогда он мне ответил, что это ни на чем не основано, неизвестно кем пущено и совершенно вздорный слух:— Окладского никто не встречал и никто не убивал. Но он куда-то исчез, как исчезли и оба брата Дегаевы. Прошло еще несколько лет, как в 17 году мне прочел свою рукопись Николай Сергеевич Тютчев, ныне умерший, который, рассказывая о своих архивных изысканиях, утверждал, что Окладский жив и что он проживает под фамилией Петровского где-нибудь в Петрограде, состоя до самой Революции агентом-провокатором при департаменте полиции..."

Михаил Петрович **Шебалин** „...Хотя я лично с Окладским и не сталкивался, тем не менее, я не могу не засвидетельствовать того обстоятельства, что с 1882 года среди революционных кругов стало известно о том, что Окладский вступил на путь предательства. Известно стало также и о том, что степень предательства его неизмерима и вред, принесенный им Революции, был чрезвычайно велик. Благодаря деятельности его, Революция была отсрочена на долгое время и партия „Народная Воля" получила такой сильный удар, что оправиться от него не могла..."

Василий Львович **Перовский** „..Лично Окладского я никогда не видал, но в революционных кругах 80-х годов его фамилия была известна, как фамилия человека, предавшего „Народную Волю". Я слыхал, что этот Окладский сыграл роковую роль в отношении лиц, участвовавших в акте 1 марта 1881 года и, в частности, моей сестры Софии Львовны Перовской. Ни после ареста покойной сестры, ни после приговора над нею я свидания с нею не получил. Мне известно, что Окладский, вступив на путь предательства, пользо-

вался большими преимуществами со стороны царского правительства. Во всяком

М. В. Д.
Департаментъ
Государственной Полиціи
25 октября 1880 г.
№ 650.

Совершенно секретно.

Г. Коменданту
Спб. Крѣпости.

Имѣю честь покорнѣйше просить Ваше Высокопревосходительство не отказать въ распоряженіи о выдачѣ предъявителю сего. Отд. Корп. Жанд. поручику Кандыбѣ государственнаго преступника Ивана Окладскаго съ принадлежащими ему вещами, съ исключеніемъ означеннаго арестанта изъ списковъ заключенныхъ С.-Петербургской Крѣпости.

Директоръ (*Плеве*).

Секретарь (*Зволянскій*)

случае могу удостоверить, что имя Окладского в революционных кругах вызывало отвращение..."

Из осмотра подлинного дела департамента государственной полиции об Иване Окладском и, в частности, из осмотра пояснительной записки, датированной 26 июня 1882 года, видно, что она содержит следующий текст: „Желательно, чтобы Окладский был водворен на юге не под настоящей своей фамилией, а под чужим именем, в виду того, что высылка его под настоящей фамилией может возбудить подозрение среди членов Революционной партии, так как возвращение свободы человеку, приговоренному к смерти, а затем вечному заточению в Крепости, может быть об'яснимо лишь особенно важными заслугами его, оказанными правительству, а потому под своей фамилией он более полезен быть не может; под чужим-же именем Окладский будет иметь возможность видеться с новыми революционными деятелями и войти в их среду", после чего 25 октября 1882 года директором департамента полиции при надписи его за № 649 послано было коменданту Петербургской Крепости нижеследующее отношение: „По приказанию господина ми-

нистра внутренних дел имею честь покорнейше просить ваше высокопревосходительство не отказать в распоряжении о выдаче пред'явителю сего отдельного корпуса жандармов поручику Кандыбе содержащегося в Крепости ссыльно-каторжного государственного преступника Ивана Окладского с принадлежащими ему вещами. К сему долгом считаю присовокупить, что названный арестант в Крепость более возвращен не будет, а самая выдача его должна быть произведена по возможности без огласки".

Того-же числа секретным отношением директор департамента поручал дежурному по штабу отдельного корпуса жандармов офицеру „...Принять арестанта, который будет вам доставлен сегодня вечером поручиком Кандыба, и поместить его в арестантскую камеру № 4, приняв меры к тому, чтобы помещение его не было обнаружено содержащимися в № 1 арестантами и чтобы лица эти не могли иметь между собою никакого сношения".

Из отношения генерал-ад'ютанта Ганецкого от 26-го октября 1882 года за № 1008 видно, что „...государственный преступник Иван Окладский сего 25 числа вечером сдан отдельного корпуса жандармов поручику Кандыбе для доставления в департамент полиции с исключением из списков содержащихся в Крепости арестантов".

Совершенно секретно

УПРАВЛЕНІЕ
КОМЕНДАНТА
С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
КРѢПОСТИ
26. Октября 1882 года
№ 1008

Господину Директору Департамента Государственной Полиции

Согласно отношения Вашего Превосходительства от 25-го текущего Октября за № 649 содержавшийся в крепости ссыльнокаторжный государственный преступник Иван Окладский сего 25 числа вечером сдан Отдельного Корпуса Жандармов Поручику Кандыбе для доставления в Департамент Государственной Полиции с исключением из списков содержащихся в крепости арестантов.

Комендант,
Генерал Адъютант Ганецкий

Ответ коменданта генерал-ад'ютанта Ганецкого директору департамента полиции.

Из не датированной справки, приобщенной к тому-же делу, в извлечениях, усматривается: „...В видах охранения Окладского от посягательств его бывших единомышленников, а также для предоставления ему возможности оказывать и впредь услуги правительству было признано необходимым скрыть его настоящее имя, вследствие чего в письмах к главноначальствующему гражданской частью на Кавказе и начальнику Тифлисского губернского жандармского управления он был назван „лишенным всех прав состояния по обвинению в государственном преступлении мещанином Иваном Ивановым"..

24-го декабря 1882 г. шефом жандармов генералом Оржевским послано было главноначальствующему на Кавказе кн. Дондукову-Корсакову за № 721 конфиденциальное отношение следующего содержания: „По высочайшему повелению, последовавшему 15-го минувшего октября, лишенный всех прав состояния по обвинению в государственном преступлении мещанин Иван Иванов подлежит ссылке на поселение в местности Закавказского Края. Во исполнение сего названное лицо вместе с сим препровождается в распоряжение начальника Тифлисского губернского жандармского управления, причем полковнику Пекарскому предложено испросить у вашего сиятельства ближайших указаний относительно места водворения мещанина Иванова согласно ст. 7 Устава о ссыльных. Сообщая об изложенном вашему сиятельству, я имею честь присовокупить, что в виду несомненных услуг, оказанных Ивановым правительству, самое поселение его на Кавказе подлежит сохранению в тайне, так как в случае обнаружения его местопребывания, ему может грозить опасность мщения со стороны отдельных лиц; при этом желательно также по возможности не стеснять его в выборе местожительства, так как пребывание его на Кавказе может принести в будущем государственной полиции существенную пользу.."

28-го декабря 1882 года, департаментом полиции, отношением за № 72: на имя Петербургского обер-полицеймейстера, сделано было распоряжение

ЗАПРОСЫ ПЛЕВЕ

1.

2 и 3.

Телеграммы к-ням жандармских управлений г.г. Тулы, Ростова-на-Дону и Тифлиса.

ОТВЕТНЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ

(шифром)

Изъ Москвы № 3199. Директору д-та полиціи.

Упоминаемая личность телеграммѣ Вашего Превосходительства отправлена на Тулу, откуда четвертаго числа отправлена далѣе. Генералъ-маіоръ Середа.

Изъ Тулы № 699. Директору департамента полиціи.

Уполномоченный телеграммою отъ 8 числа былъ отправленъ Курскъ 3 вечеромъ вѣроятно теперь Тифлисѣ. Полковникъ Зенинъ.

Изъ Тифлиса 9 января № 1594. Директору департамента полиціи.

Арестантъ Ивановъ Тифлисъ не прибывалъ. Нач. губ. жанд. управл. полковникъ Пекарскій.

о доставлении мещанина Ивана Иванова с пакетом за № 723 в распоряжение Московского жандармского управления для дальнейшего отправления его по назначению.

Из обстоятельств дела известно, что доставление мещанина Ивана Иванова по назначению несколько затянулось из-за задержания его на предмет опознания Веры Николаевны Фигнер в Харькове.

Из осмотра того-же дела того-же департамента усматривается, что неаккуратное доставление Ивана Иванова нашло себе отражение в отправлении трех депеш, которые были написаны собственноручно Плеве, с следующим содержанием: 1. „Тула, начальнику губернского жандармского управления. Покорнейше прошу уведомить, по какому пути вами направлен далее арестант Иванов, доставленный из Москвы, где теперь может быть. Если возможно, остановите его и телеграфируйте. Директор Плеве"; 2. „Ростов-на-Дону. Жандармскому подполковнику Юкину. По вверенной Вам дороге должен следовать в Тифлис арестант Иванов. Остановите и телеграфируйте, где он. Директор Плеве" и 3. „Тифлис. Полковнику Пекарскому. Телеграфируйте, прибыл ли арестант Иванов. Директор Плеве".

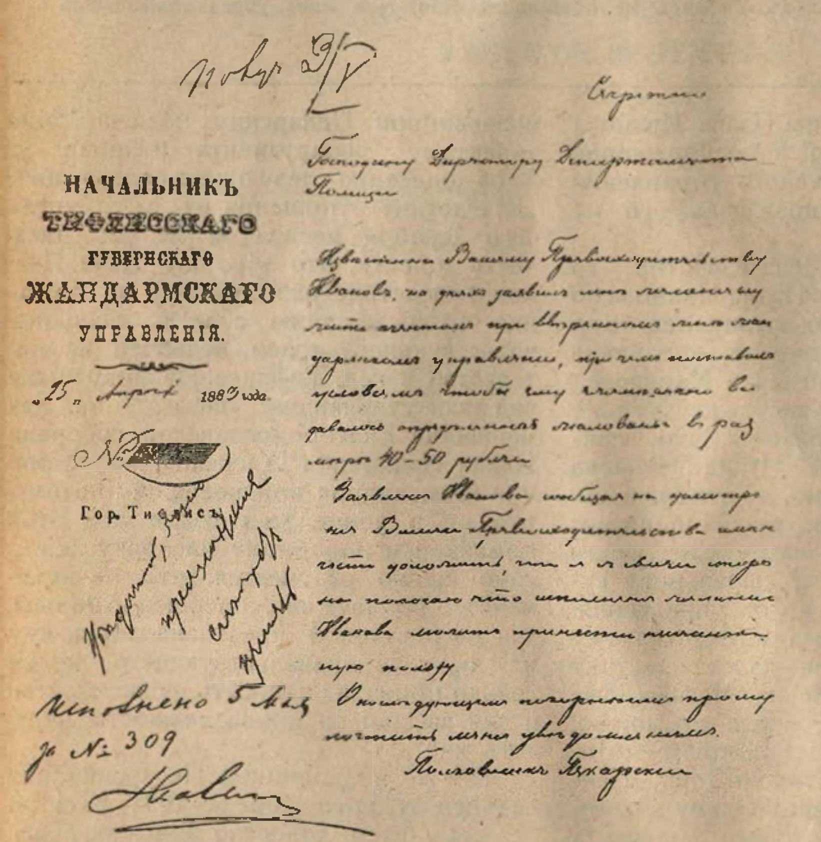
Шифрованная телеграмма из Тифлиса от 31-го января 1883 года за № 4985 от начальника Тифлисского губернского жандармского управления сообщает: „Арестант Иван Иванов доставлен в Тифлис благополучно. Полковник Пекарский".

5-го февраля 1883 года тем-же полковником Пекарским послано было директору департамента полиции за № 96 донесение следующего содержания: „Вследствие отношения от 24-го числа сего декабря месяца за № 724, имею честь донести, что арестант Иван Иванов, вследствие из'явленного им желания, по соглашению с и. д. главноначальствующего краем, водворен на жительство в гор. Тифлисе. Иванову выдан вид (как утерявшему паспорт) на имя мещанина Екатеринославской губернии Ивана Ивановича Александрова; фамилия Александров присвоена ему потому, что он в конце 70-х годов под этой фамилией и подобному паспорту жил... само собою разумеется, что полицеймейстер, выдавая вид, совершенно не знал, для кого таковой предназначается, ему и. д. главноначальствующего краем только приказал написать свидетельство и для выдачи по принадлежности передать мне"...

Тем-же полковником Пекарским, при надписи от 25-го апреля 1883 года за № 215, было донесено директору департамента полиции следующее: „Известный вашему превосходительству Иванов на днях заявил желание служить агентом при вверенном мне жандармском управлении, причем поставил условием, чтобы ему ежемесячно выдавалось определенное жалованье в размере 40-50 рублей. Заявление Иванова сообщая на усмотрение вашего превосходительства, имею честь заявить, что я с своей стороны полагаю, что исполнение желания Иванова может принести несомненную пользу. Полковник Пекарский".

причем на этом донесении имеется резолюция Плеве следующего содержания: „Уведомить, что предложение следует принять“, а также и отметка об исполнении.

1-го октября 1888 года, Дурново, сменившим Плеве на посту директора департамента полиции, послан был начальнику Тифлисского жандармского управления Янковскому телеграфный запрос о местонахождении „высланного в 1883 году в Тифлис известного Вам мещанина Ивана Иванова“, а 5-го октября того же года, ему же письмо следующего содержания: „Встречая надобность в личном об'яснении с известным вашему превосходительству Иваном Ивановым, имею честь просить вас, милостивый государь, пригласить его к себе и, снабдив деньгами на дорогу, предложить ему немедленно выехать в Петербург. По прибытии в Петербург, Иванов не должен никому сообщать о цели своего приезда и между 6—7 часами вечера явиться ко мне на квартиру, по Владимирской площади, и представить в удостоверение своей личности письмо от вас. Для приезда и жительства Иванов должен быть снабжен документом, по которому он проживает в Тифлисе и по коему он мог бы беспрепятственно жить в Петербурге, но отнюдь не проходным свидетельством. Сохраняя поездку Иванова в строгой тайне, я покорнейше прошу ваше превосходительство о дне его выезда из Тифлиса и о дне, в который он явится ко мне, уведомить меня шифрованной телеграммой“.



Секретно

НАЧАЛЬНИКЪ ТИФЛИССКАГО ГУБЕРНСКАГО ЖАНДАРМСКАГО УПРАВЛЕНІЯ.

„25“ Апреля 1883 года

№ [redacted]

Гор. Тифлисъ

Господину Директору Департамента Полиции

Известный Вашему Превосходительству Иванов, по делам заявил мне лично желание быть агентом при вверенном мне Жандармском управлении, при чем поставил условием, чтобы ему ежемесячно выдавалось определенное жалованье в размере 40–50 рублей.

Заявление Иванова сообщая на усмотрение Вашего Превосходительства имею честь доложить, что я с своей стороны полагаю что исполнение желания Иванова может принести значительную пользу.

О последующем покорнейше прошу почтить меня уведомлением.

Полковник Янковский

Исполнено 5 Мая за № 309

В виду ссылки Окладского на некоторые обстоятельства, сопровождавшие службу его в департаменте полиции, каковые могут осветить монтер Электрической станции Северо-Западных ж. д. Тетерин и надсмотрщик телеграфа Службы Связи тех-же дорог Богданов, последние, будучи допрошены в качестве свидетелей, об'яснили:

Тетерин—что с Петровским Иваном Александровичем ему приходилось встречаться лет 15 по совместной службе на Варшавской жел. дор., причем о нем он может сказать лишь то, что Петровский был известен, как человек, который „вхож к сановникам“, но что он не знает, каким образом последний достиг такого положения; что раз ему пришлось даже получить, так сказать, предметное подтверждение этого, когда он по его просьбе ремонтировал частную квартиру министра внутренних дел Дурново, причем, когда он явился на эту квартиру и заявил, что пришел от Петровского, то его сразу же впустили. Он лично никогда не работал на Пантелеймоновской 9, и не знает, работал ли там под тем или иным видом Петровский Иван Александрович,

а Богданов — что он встречался с Петровским до Революции по совместной службе с ним в телеграфных мастерских Северо-Западных ж. д., где он был учеником, и что особенно хорошего сказать о нем он ничего не может, ибо Окладский эксплоатировал очень сильно труд как его, так и других учеников; положение он занимал очень хорошее, с ним все считались и происходило это благодаря тому, что Петровский был известен, как человек, имевший весьма крупные связи и близкий к сановному миру; он вспоминает, что Петровский раз взял его с собой для починки электричества на частной квартире министра внутренних дел Дурново, причем его тогда же поразило поведение Петровского, державшего себя в этом доме своим человеком, его все знали, все с ним здоровались, но никаких выводов он тогда из этого не делал; больше он его никуда не брал с собою и только после революции один мастер сказал ему, что Петровский был весьма близок к охранному отделению и этим об'ясняется его близость к верхам.

Из того же дела департамента полиции видно, что 11 сентября 1891 года министром внутренних дел подан был Александру III-му всеподданнейший доклад следующего содержания: „Приговором С.-Петербургского военно-окружного суда, состоявшимся 30 сентября 1880 г., мещанин Иван Окладский, признанный виновным в покушении близ города Александровска на жизнь в бозе почивающего императора Александра Николаевича, присужден был, по лишении всех прав состояния, к смертной казни через повешение. По высочайшему милосердию определенная Окладскому судом смертная казнь в ноябре 1880 года была заменена каторжными работами без срока. Оставаясь затем в течение некоторого времени в Петербургской Крепости, Окладский, под влиянием лиц, производивших дознания по политическим делам, вступил на путь полной откровенности и сообщил весьма ценные для правительства сведения. По указаниям Окладского обнаружены две конспиративные квартиры, в одной из коих летом 1880 года помещалась тайная типография, а в другой изготовлялся динамит. Розыски лиц, проживавших в этих квартирах, имели прямым последствием задержание нескольких видных деятелей преступного сообщества, а именно, Фриденсона, Баранникова, Колодкевича, Клеточникова и, наконец, Тригони, в квар-

Всеподданнѣйшій

докладъ

Министра

Внутреннихъ Дѣлъ

Приговором С.Петербургскаго Военно Окружнаго Суда, состоявшимся 30 Октября 1880 года мещанин Иван Окладский, признанный виновным в покушении близ г. Александровска на жизнь в бозе почивающаго Императора Александра Николаевича, присужден был, по лишении всех прав состояния, к смертной казни через повешение

По Высочайшему милосердию определенная Окладскому судом смертная казнь в Ноябре 1880 г. была заменена каторжными работами без срока

Оставаясь затем, в течении некотораго времени, в С.Петербургской крепости, Окладский под влиянием убеждения лиц, производивших дознания по политическим делам, вступил на путь полной откровенности и

По Департаменту Полиции

Снимок с доклада.

тире которого был арестован Андрей Желябов. Из дальнейших показаний Окладского было выяснено, что летом 1880 года злоумышленники заложили мину под одним из мостов на Гороховой улице и благодаря этому указанию под Каменным мостом были действительно обнаружены две гуттаперчевые подушки с динамитом и приспособления для взрыва. Наконец, после злодейского преступления 1 марта 1881 г. личности за-

держанных под ложными фамилиями злоумышленников были обнаружены, главным образом, при негласном пред'явлении их Окладскому. Во внимание к вышеозначенным заслугам Окладского, ваше императорское величество в 24-ый день июня 1881 года всемилостивейше соизволили на замену определенного Окладскому наказания ссылкой его на поселение в Восточную Сибирь, с тем, однако, чтобы упомянутый преступник был оставлен в Петербурге до тех пор, пока его содействие будет признаваться полезным. В виду дальнейших разоблачений и 16-ти месячного одиночного заключения в крепости после смягчения участи, а также крайне расстроенного его здоровья, вашему и. в. 15-го октября 1882 года благоугодно было повелеть сослать его взамен Восточной Сибири в местности Закавказского Края. Во избежание мести революционеров Окладский был поселен на Кавказе под чужим именем и со времени прибытия в Край вел себя безукоризненно и старался по мере возможности быть полезным местному жандармскому управлению. Такое последовательное направление деятельности Окладского послужило основанием, после обнаружения в конце 1889 года Петербургского кружка Истоминой и Фойницкого, к вызову Окладского в Петербург и он под именем „техника" был поставлен в непосредственные отношения к членам означенной революционной группы. Окладский оправдал оказанное ему доверие, завязал связи с некоторыми деятелями этого кружка и, кроме того, обнаружил главных деятелей революционной пропаганды среди заводских рабочих в Петербурге. В виду столь несомненных услуг, оказанных Окладским делу обнаружения злоумышленников и членов преступного сообщества, казалось бы справедливым вознаградить его полезную деятельность полным помилованием, не восстановляя, однако, в интересах осторожности, его прежнего имени. Повергая вследствие сего участь Окладского на всемилостивейшее вашего и. в. воззрение, долгом почитаю ходатайствовать об освобождении его от дальнейшего наказания, с предоставлением ему звания личного почетного гражданина под именем Ивана Александровича Петровского..."

Как видно из рапорта того-же министра сенату от 27-го сентября 1891 года, испрашивавшееся Окладскому звание 11-го сентября 1891 года было даровано.

Из осмотра заслушанного 30-го октября 1880 года Петербургским Военно Окружным Судом дела о „Шестнадцати террористах", видно, что Окладский в последнем своем слове сказал текстуально следующее: „Я не прошу и не нуждаюсь в смягчении моей участи; напротив, если суд смягчит свой приговор относительно меня, я приму это за оскорбление".

В том же деле департамента полиции имеется документ без даты следующего содержания: „его превосходительству Леониду Александровичу Ратаеву. Докладная записка И. А. Петровского. Имею честь просить ходатайства вашего превосходительства перед господином директором департамента полиции о представлении меня к званию потомственного почетного гражданина. И. Петровский" (см. стр. 566, 567, снимок с этой записки), каковой документ послужил основанием к составлению об'яснительной справки, начинающейся словами: „негласный сотрудник департамента полиции Иван Александрович Петровский, личный почетный гражданин, может быть представлен к награждению званием потомственного почетного гражданина, но не в обычном порядке через Наградной Комитет, а по установившейся для таких лиц практике — путем особого всеподданнейшего доклада министра внутренних дел", каковой состоялся, как то видно из указа правительствующего сената министру внутренних дел, в коем „...прописано, что государь император по всеподданнейшему докладу его, министра, в 31-ый день июля 1903 года всемилостивейше соизволил пожаловать личному почетному гражданину Ивану Александровичу Петровскому звание потомственного почетного гражданина".

Допрошенный 30-го сентября 1924 г., Окладский дал дополнительно показания, которые мы приводим дословно:

„Резюмируя все написанное и сказанное мною, я прежде всего считаю весьма преувеличенной ту худую славу, которою мое имя окружено. Я далек от

мысли считать себя виновником разгрома „Народной Воли“ и, в частности, Исполнительного ее Комитета первого состава. Мне неизвестно точно, какие результаты получило царское правительство от выдачи мною двух конспиративных квартир—на Подольской и на Б. Под'яческой улицах. Мне совершенно не были известны имена владельцев этих квартир по соображениям конспирации. На одной из них, именно, на Под'яческой, я изготовлял динамит. Если хозяин этой квартиры жил под фамилией Агаческулова и являлся на самом деле Кибальчичем и если этим именем или вернее паспортом пользовался еще Фриденсон, то это большая неосторожность и я не виноват, что властям удалось благодаря этому напасть на верные следы и того и другого, ибо я, выдавая эту квартиру, полагал, что она для народовольцев потеряла уже всякое значение. Того-же мнения я держался и относительно второй квартиры на Подольской, квартиры, где я часто бывал, где бывали многие народовольцы и где я должен был получать все сведения о Желябове, если я не встречал его на улице. С Желябовым меня связывали, как я говорил уже, тесные узы, начавшиеся еще до Александровска. Желябов предназначал меня на новые крупные дела и не будь я арестован, я несомненно принял бы участие в акте 1-го марта. Я не был так близок к Исполнительному Комитету партии, как об этом говорят. Я не участвовал в Липецком С'езде и совершенно не был знаком с общей программой действий партии, но поскольку я принял активное участие в покушении под Александровском, я, конечно, приобрел известное доверие партии, которая и поручила мне изготовление динамита. Я никогда не видал Кибальчича. Я не помню, чтобы он привозил в Александровск спирали Румкорфа. У нас был другой техник—это Ширяев, судившийся со мной по процессу „Шестнадцати“. Я вспоминаю, что, действительно, в Александровске, живя у Бобенко, я встречал Анну Васильевну Якимову (Баску), которая фигурировала под видом жены Желябова, который носил фамилию Черемисова. Эту же Баску, помнится мне, я встречал на одной из конспиративных квартир, которые я выдал. Я категорически утверждаю, что Тригони, иначе „Милорда“, я никогда в жизни не видал и совершенно не могу об'яснить, почему имеется документ жандармского управления, свидетельствующий о том, что Тригони был мне пред'явлен и был мною опознан, как то самое лицо, которое носило на свободе кличку „Милорд“. Равным образом, я протестую против той роли, которая отводится мне в истории „Народной Воли“ и революционного движения вообще.

Я не великий провокатор, отнюдь нет. Когда я слышу, что мне приписывается разгром „Народной Воли“, то я говорю, что это мне слишком много чести. Я не знаю, чем об'ясняется то обстоятельство, что и во всеподданнейших докладах и во всех документах, исходящих от департамента полиции и жандармских управлений, имеется перечисление моих заслуг, таких заслуг, которых я за собою не знаю.

Я не знаю, почему, в частности, указывается на то, что благодаря мне были обнаружены лица, принимавшие участие в акте 1-го марта.

Софию Перовскую я знал, но не встречал в Харькове, в Петербурге же я ее совершенно не видал. Я не знал, что она была близка Желябову. Я не знал адреса Желябова и не знал под какой фамилией он жил. Я не знаю при каких обстоятельствах он был арестован и с кем и у кого.

Вопрос о закладке мин под одним из мостов в Петербурге обсуждался мною с Желябовым. Идея эта принадлежит мне и затем была использована партией. Это видно из того, что когда я давал сведения Судейкину о том, что я рекомендовал подложить под Каменным мостом мину—то таковая, после проверки данных мною сведений, была обнаружена. Меня тогда даже не спрашивали о том, с кем, именно, я вел разговоры о закладке мины—Желябов тогда уже был вполне скомпрометирован, и мне прямо говорили, что я уславливался с ним. Мне надобности, таким образом, не было выдавать его.

Я не знал, кто такой Слатвинский. Возвращаясь к 1-му марта, я говорю, что Перовскую я знал лишь в Харькове, Кибальчича я совершенно не знал, также не знал Рысакова, Михайлова и Геси Гельсман. Я ничего не знал о квартире на Тележной улице.

Желябов был выдан Меркуловым, который после моего ареста продолжал сношения с Желябовым.

Мне неизвестно, почему Плеве, в бытность его директором департамента полиции, так живо интересовался мною и собственноручно писал телеграммы, имевшие прямое отношение ко мне. Вероятно, он делал это в связи с должностью, им занимаемой.

ГЛАВНОНАЧАЛЬСТВУЮЩІЙ ГРАЖДАНСКОЮ ЧАСТІЮ НА КАВКАЗѢ.

Января 1883 года.

№ 15

въ г. С.-Петербургъ

Совершенно секретно

Милостивый Государь Петръ Васильевичъ.

Вслѣдствіе письма Вашего Превосходительства о ссыльномъ изъ мѣщанъ Иванѣ Ивановѣ я вмѣстѣ съ симъ предложилъ Генералъ-Лейтенанту Старосельскому предоставить Иванову возможность водвориться въ той или другой изъ мѣстностей Кавказскаго Края, наиболѣе соотвѣтствующихъ тѣмъ обстоятельствамъ, при которыхъ онъ ссылается.

Примите увѣреніе въ истинномъ моемъ почтеніи и совершенной преданности.

Князь Дондуковъ-Корсаковъ

Его Превосходительству П. В. Оржевскому

Если я, по приезде в Тифлис, предложил свои услуги местному жандармскому управлению, то сделал я это под угрозами Судейкина. Хотя я и был тогда лишь ссыльно-поселенцем с определенным мне местом жительства—Тифлисом, каковое мое положение было утверждено царем, тем не менее, Судейкин, в силу предоставленных ему совершенно исключительных полномочий, совершенно ни с кем и ни с чем не считался. Если я ему, допустим, был нужен, или если он хотел почему-либо мне мстить, то царские указы были для него пустяком. Я этим хочу сказать, что то обстоятельство, что я был водворен в Тифлисе, что мне при личной встрече главнональствующий князь Дондуков-Корсаков разрешил свободный выбор жительства, что само мое появление в Тифлисе было следствием желания Плеве, что, наконец, я не был уже каторжанином, тем не менее, все это не давало никакой гарантии от того, что в один прекрасный день Судейкин мог меня взять и сделать со мной буквально все, что хотел.

Я отнюдь не преувеличиваю степени могущества Судейкина. Я не знаю, почему, в таком случае, вопрос о моем сотрудничестве согласовывался с Плеве и, вообще, с департаментом полиции, а не с Судейкиным. Судейкин убит был в 1883 году и, таким образом, казалось-бы, с его смертью, исчез человек, который мог обращаться со мной, как с вещью. Тем не менее, я не знаю, почему жандармское управление в Тифлисе продолжало давать обо мне лестные отзывы. По моему мнению, я не приносил им никакой пользы. Я действительно получил в Тифлисе, по соглашению с жандармами, паспорт на имя Александрова по причинам, изложенным в предыдущем моем показании.

Несмотря на то, что Плеве близко интересовался мною, что по приезде в Тифлис я был принят главноначальствующим, который предложил мне свободный выбор жительства, мне, бывшему цареубийце, что спустя несколько лет я был вызван в Петербург и был с вокзала прямо доставлен на частную квартиру Дурново, директора департамента полиции, который, обставив мой приезд большой тайной, имел со мной конфиденциальную беседу, в которой излагал причины, побудившие его вызвать меня в Петербург, несмотря, наконец, на милости, кои были мне оказаны царским правительством в виде возведения меня сначала в личное, а затем и в потомственное гражданство, тем не менее, я совершенно не разделяю той точки зрения, которой держатся в отношении меня старые народовольцы, именуя меня одним из величайших провокаторов. Я слыхал вообще о процессе „Двадцати", но не знаю, какая участь постигла осужденных по нему. Я не склонен видеть среди некоторых из участвовавших в нем лиц — свои жертвы. Я считаю плодом фантазии рассуждение о том, что я привел некоторых народовольцев к эшафоту и многим и многим исковеркал жизнь. „Народная Воля" погибла без моего участия, так, по крайней мере, я нахожу".

Из того-же дела явствует, что Окладскому, по возведении его в звание потомственного почетного гражданина, было выдано следующее, датированное 7-го сентября 1903 года за № 911, удостоверение: „Предъявитель сего есть действительно служащий в департаменте полиции Иван Александрович Петровский, что удостоверяется подписом и приложением казенной печати. Настоящее удостоверение выдано Петровскому для представления в департамент герольдии на предмет получения грамоты на звание потомственного почетного гражданина".

Вследствие всего этого:

Окладский Иван Федорович, (он-же Иванов, он-же Александров, он-же Петровский), 65 лет, происходящий из крестьян дер. Оклад, Новоржевского уезда, Псковской губернии, женатый, окончивший 2 класса городского училища, по профессии электро-механик, служивший до ареста на заводе "Красная Заря" в должности механика для лабораторных изысканий, бывший член террористической организации партии „Народная Воля", привлекавшийся по политическим делам к ответственности и судившийся в 1880 году Петербургским военно-окружным судом по процессу „Шестнадцати террористов", коим, признанный виновным в покушении на жизнь Александра II-го, произведенным под гор. Александровском, приговорен был к смертной казни через повешение, замененной бессрочными каторжными работами, ссылкой на поселение в восточной Сибири, ссылкой на поселение в местности Закавказского края и в 1891 году освобожденный от дальнейшего наказания, с возведением в звание сначала личного, а затем потомственного почетного гражданина, ныне к партиям не принадлежащий, **обвиняется** в том, что, приняв в конце семидесятых годов активное участие в террористической борьбе с самодержавием и будучи близок, в силу оказанного ему доверия, к членам партии „Народная Воля", составлявшим Исполнительный ее Комитет, и программе ее действий, выдал, после состоявшегося суда над ним, подлежащим властям виднейших деятелей революционного движения той эпохи, после чего, поступив в 1883 году на государственную службу бывшего Российского царского правительства на должность негласного сотрудника сначала Тифлисского губернского жандармского управления, а затем департамента полиции, пребывал в означенной должности вплоть до февральской Революции, оказав, по неоднократному свидетельству означенного правительства, неоценимые услуги в борьбе его с революционным движением в России. Преступления эти предусмотрены 67 ст. Уголовного Кодекса.

Автобиография И. А. Петровского (Окладского) *).

I.

Эпоха 70-х годов.

Пропагандисты Левицкий, Витютнев, Крапоткин.

1869.

Родился я в г. Новоржеве, Псковской губ., в 1859 году. Отец мой крестьянин деревни Оклад, Новоржевского уезда, приписался к мещанскому обществу города, вследствие чего и получил фамилию Окладский, затем занялся мелочной торговлей, но дело не пошло за неимением денег, почему он уехал в Петербург и поступил работать на завод Семянникова за Невской заставой.

Я остался с матерью и другими малолетними детьми. Учился в городском училище, но курса не окончил, так как, кажется, со второго класса в 1869 г. отец потребовал меня в Петербург, где и определил учеником в Корабельную мастерскую того-же завода. Вскоре отец заболел и, пролежав несколько месяцев в Мариинской больнице, уехал в Новоржев для окончательного поправления здоровья, а я остался один работать на заводе, причем ежемесячно посылал из своего скудного жалованья два-три рубля в помощь родным.

В конце 1870 г. события Парижской Коммуны отозвались и на нашем заводе, где я впервые познакомился с учением социализма. Первым моим просветителем был флотский или морской инженер, помощ. строителя кораблей Левицкий, который подробно мне об'яснил чего хотели и за что бились Парижские пролетарии и как их победили версальские гиены с Тьером во главе.

Левицкий был среднего роста, плотный, красивый молодой офицер, с блестящими черными глазами и бледным задумчивым лицом. Очень любил цитировать разные революционные стихотворения, в особенности, про Стеньку Разина, и просил меня, чтобы и я все это знал на память. Из всего им цитированного я помню только две строки дословно, когда Разин говорит: „и доблесть рыцарская ничего не сможет пред силою летящего ядра“.

Левицкий ни к какой партии не принадлежал и о дальнейшей его судьбе ничего не знаю. Вскоре к рабочим завода стали ходить настоящие пропагандисты, как-то: Клеменц, артиллерийские офицеры Рогачев и Кравчинский, который впоследствии убил шефа жандармов Мезенцова и скрылся заграницу. В то время Рогачев и Кравчинский только-что бросили службу и пошли в народ, как тогда выражались. Рогачев был высокого роста, необычайной физической силы и очень добродушный человек, но как пропагандист был плоховат, зато Кравчинский,—человек меньшего роста, но с звонким, льющимся в душу голосом, имел большой успех среди рабочих. Не долго приходили к рабочим Рогачев и Кравчинский, так как они потом ушли пропагандировать по деревням, а к рабочим стали ходить другие лица, как-то: студент Медико - Хирургической Академии Низовкин, Витютнев, Сергей Силич Синегуб, князь Крапоткин и др., фамилии которых не помню.

Особенной любовью среди рабочих пользовался Низовкин, человек плотного телосложения, чисто Разинского типа,

---

*) **От Редакциии:** Автобиография Окладского, представляющая документ исторической ценности, оставлена редакцией без изменения в том виде, как она написана самим Окладским.

как тогда говорили, по происхождению донской казак, как и Витютнев. К сожалению рабочих, его скоро арестовали и о дальнейшей судьбе его мне ничего неизвестно.

После его ареста пропаганду среди рабочих продолжал Витютнев, который занимался, преимущественно, развитием молодых рабочих, читая им разные популярные научные книги.

Еще большей любовью и глубоким уважением рабочих пользовался С. С. Синегуб, его положительно рабочие боготворили за его чистую кристальную душу и за великую любовь к рабочему обездоленному люду. Когда его арестовали, то велико было горе рабочих, которые клялись вечно его помнить и во имя его продолжать дело пропаганды. Он же был первым революционным поэтом, но очень скромным и застенчивым. В то время рабочие распевали гимн, сочинение которого приписывали С. С. Синегубу:

Долго нас помещики душили,
Становые били,
В страхе нас квартальные держали,
Немцы муштровали.
Про царей попы твердили миру
С пьяну или с жиру:
Сам-де бог помазал их елеем,
Как-же мы-то пикнуть смеем.

Князь Крапоткин читал рабочим лекции об Интернационале, что много способствовало поднятию духа и бодрости среди рабочих, которые видели, что не одни они будут бороться, а что их западные братья - рабочие организовываются в мощный союз. Собрания рабочих зимой происходили в местном трактире „Рожок", где занималось все помещение и, конечно, при этом была скромная выпивка и закуска для отвлечения подозрений. Летом собирались в поле, или переплывали Неву и собирались за монастырем Киновия, что был напротив завода, куда иногда приходили и фабричные рабочие с фабрики Торнтона и Паля. Туда же приходил и ткач с фабрики Торнтон Петр Алексеев, впоследствии произнесший свою известную знаменитую речь на суде по большому процессу „193-х".

Кроме этих пропагандистов, приходивших к рабочим, я встречал и других, которые жили среди рабочих в самых тяжелых условиях и исполняли очень трудную для них физическую работу. Так, в то время, приблизительно в 1871 и 72 г.г. когда я жил вблизи завода в одном большом деревянном 2-х этажном доме, построенном специально для рабочих и разделенном на большие квартиры в одну большую комнату, в которой были нары сплошь занятые рабочими; эти нары окружали комнату со всех сторон, кроме двери, и все были всегда заняты, да еще, кроме того, хозяин квартиры пускал отдельных ночлежников под нары на ночь. Какой у нас был воздух, можно судить потому, что когда к нам приходил Низовкин, человек необычайно здоровый и не изнеженный, сам живший в тяжелых условиях голода и холода, то даже и он не мог долго у нас высидеть; обыкновенно через полчаса он говорил, что у него страшно разболелась голова и в глазах зеленеет, и он уходил. Между тем, в таких условиях находились у нас два интеллигентных человека,—один известен был под фамилией Медведева, с которым я рядом помещался, а другой назывался Иваном Петровичем. Оба занимались пропагандой и каждый вечер что-либо читали или рассказывали в нашей комнате казарме-клоповнике при коптящих ночниках.

Медведев был человек слабого здоровья, сильно кашлял и у него болела грудь, но он не обращал на это внимания и продолжал свое святое дело просвещения рабочих.

Иван Петрович был другого типа. Человек высокий, стройный, красивый блондин с военной выправкой, тип гвардейского офицера, что многим бросалось в глаза; он выделялся среди рабочих и был достаточно силен, чтобы быть каталем, т. е. возить уголь с барж на завод и не отставать в труде от выносливых рабочих. Благодаря своей наружности он никогда не мог показываться полиции во время частых облав и проверки паспортов по ночам. Хотя у него и был какой то паспорт, но он обыкновенно в это время, как летом, так и зимой, выскакивал из окна, выходящего в поле. Рабочие его оберегали, задерживая всей толпой полицию у дверей, если облава была неожиданной. Обыкновенно же дворники всегда предупреждали об этом, так как знали это через городовых.

Иван Петрович был несомненно военный человек, чего он и сам особенно не скрывал, но не говорил, где он служил и кем был, а только проповедывал молодым рабочим, что когда они попадут на военную службу, то не должны поднимать оружие против своих братьев рабочих и крестьян и должны говорить остальным своим товарищам солдатам, что это их святая обязанность. Тоже самое он и мне говорил в то время, когда я летом спал с ним на чердаке, или выскакивал за компанию в окно во время облавы и мы уходили в поле.

Вообще же, он раз'яснял рабочим, в чем заключается сила государства, откуда правительство почерпает эту силу и опирается на нее, и как сам народ бессознательно помогает ему в этом, давая своих сыновей на военную службу.

Вскоре полиция заинтересовалась этими лицами и стала наводить справки через дворников, а те сообщили им об этом, и Медведев и Иван Петрович скрылись. Медведев продолжал проживать за Невской Заставой, скрываясь среди заводских и фабричных рабочих, которые его укрывали на своих квартирах, а Иван Петрович исчез бесследно и я никогда больше про него ничего не слышал.

II.

Знакомство с III-м отделением.

Арест.—Коммуна д-ра Ивановского.—Кружок Низовкина.—Бегство из Петербурга.—Первые коммунисты.—В Москве.—В Одессе.—Заславский. 1872.

Спустя некоторое время меня арестовали, как приятеля Медведева, с которым меня постоянно видели вместе, и отвели в III отделение, впоследствии департамент полиции, где расспрашивали про Медведева и про то, чему он учил меня. Я рассказал, что он учил меня географии, истории, физике и, вообще, развивал меня, что и было в действительности. Хотя мне и не особенно поверили, но, видя перед собой маленького мальчика, вскоре отпустили, взяв подписку о невыезде из Петербурга без разрешения и строго наказав мне, что как только я увижу Медведева, то чтобы пришел в III отд. и рассказал, где я его встретил. По освобождении я рассказал об этом более распропагандированным рабочим, те передали Медведеву, который вскоре пришел вечером к нам на квартиру, распрощался со всеми рабочими и исчез на всегда.

В начале лета 1872 г. члены рабочего кружка обратили внимание на мой изнуренный вид и худобу и предложили мне поехать для поправки здоровья в Коммуну (?) доктора Ивановского. Получив с завода месячный отпуск, я поехал на пароходе по Неве, где, не доезжая Шлиссельбурга на правом берегу реки, вблизи немецкой колонии Екатериненберг, Ивановским была нанята большая дача, в которой я застал человек 15 таких-же, как я малышей, и нескольких молодых рабочих. Здесь было также несколько интеллигентных людей, которые занимались преподаванием разных предметов обще - образовательного характера, как для развитыя малышей, так и для молодых рабочих. Сам Ивановский занимался с нами не более 2-х раз в неделю, так как у него была медицинская практика в Петербурге, которой он зарабатывал деньги и содержал все общежитие на свой счет, отдавая все до последней копейки на это дело и даже входя в долги, которые потом и уплачивал зимой по частям. Там мы брали все в кредит на книжку у лавочника в Шлиссельбурге, куда ездили на лодке по очереди. Лавочник открыл неограниченный кредит доктору Ивановскому; такой это был обаятельный человек, что растопил даже заскорузлое сердце лавочника, который хорошо знал, что за народ живет на даче у Ивановского и чему там учат „скубенты“.

Мы, малыши, глубоко любили Василия Семеновича Ивановского за его бесконечную доброту не только к нам, но и, вообще, ко всем людям бедным и угнетенным, он учил и нас жертвовать всем для блага других. „Коммуна“ эта или общежитие просуществовала три лета, но потом полиция обратила

внимание на то, что доктор Ивановский воспитывает молодежь в революционном духе, да и сам занимается революционными делами, почему ему пришлось скрыться заграницу, так как проживать в России ему, положительно, нельзя было из-за его необычайно большого роста—это был настоящий великан, на которого все невольно обращали внимание.

Ивановский недавно умер в Болгарии, где он прожил более 20-ти лет, как писали об этом в газетах, и где он пользовался большою любовью бедноты.

Возвратившись с дачи работать на завод, я попал в лучшие жизненные условия, чем это было раньше. Меня пригласил жить к себе в комнату один из членов кружка, столяр Мясников, с котовым я и поселился. Мясников был очень развитой человек, так же как и Халтурин и др. рабочие кружка, как Михаил Орлов (фамилии остальных не помню), в особенности, считался самым развитым Обнорский, которого по своему развитию считали выше интеллигента.

Любимыми книгами из легальных в то время были: „Положение рабочего класса в России“ Флеровского (Берви),—это был любимый писатель рабочих, Лассаль т. I, Капитал Маркса, впоследствии, спустя несколько лет, „Сила солому ломит“ Наумова. Эта книга после ее запрещения была отпечатана заграницей в громадном количестве экземпляров.

Увлекались рабочие кружка Низовкина и Лассалем, фотографические карточки *) которого у всех были, и защитительную речь его на суде, где Лассаль говорил, что „наука и ее учение свободны“, и развивал свои тезисы,—рабочие знали почти наизусть.

Из запрещенных книг самыми популярными считались „Сказка о четырех братьях“, „Хитрая механика“ и „Чтой-то братцы, как тяжко живется рабочему люду на святой Руси“, написанная самым простым народным языком. На малороссийском языке была, кажется, единственная в то время, книжечка „Парова молотилка“, в которой проводилась та главная идея, что Парова молотилка должна быть не панска, а громадска, т. е. общественная, крестьянская, как и все вообще орудия труда.

Эти запрещенные книжки предназначались для фабричных рабочих из крестьян и мало развитых, а для заводских рабочих, как теперь их называют, высокой квалификации, имелись другие книги, которые были совершенно недоступны пониманию фабричных, как-то: „Отщепенцы“ Соколова, журнал „Вперед“, издававшийся Лавровым в Париже, Прудон с его знаменитой цитатой „Собственность—есть кража“, сочинение Бакунина, с его „Анархией“ по Прудону и проч.

Особенное впечатление производила книга „Отщепенцы“, написанная против милитаризма. Я даже по сейчас помню дословно начало этой книги: „Когда Наполеон I водил на бойню свои армии и требовал от Франции пушечного мяса, то многие отказывались умирать во славу великого Императора, их называли отщепенцами“ и т. д.

Вскоре я мог заниматься пропагандой самостоятельно и читал мало развитым рабочим „Сказку“ и „Хитрую механику“ и вел разговоры на революционные темы, что дошло до заводской администрации, которая меня и уволила с завода. Это было, помнится, весной 73 г.

Спустя несколько дней я поступил на чугунный завод, впоследствии Александровский, где уже были у меня знакомые распропагандированные рабочие, с которыми я уговорился, и мы наняли отдельный домик, в котором и поселились артелью. Туда к нам приходили и другие рабочие, которым мы читали революционные книжки, а я, кроме того, старался организовать свой особый кружок из более развитых рабочих, что мне и удалось. В это время, в той-же сборной мастерской, в которой я работал, работал также бывший студент-технолог Злобин в качестве слесаря и тоже занимался пропагандой самостоятельно, с ним я быстро познакомился и ввел его в наш кружок для чтения лекций по научным предметам. Своих знакомств с членами кружка Низовкина на Семянниковском заводе я не прерывал, а также и знакомство с интеллигенцией, и иногда под праздник ходил ночевать в Коммуны, которых тогда было несколько в Петрограде,

*) Иметь фотографические карточки любимых писателей, как-то: Лассаля, Прудона, Лаврова, Бакунина, Чернышевского, Писарева и др., считалось среди рабочих как-бы обязательным.

в одной из них, на Б.-Пушкарской, я бывал несколько раз, туда меня в первый раз свел Витютнев. Коммунисты снимали весь дом деревянный, в нем было кажется, две или три больших квартиры, в которых и проживали, преимущественно, студенты и курсистки. Каждый член вносил в общую кассу что мог, а если ничего у него не было, то и не требовали; жили часто братской жизнью мужчины и женщины, все у них было общее, даже костюм и белье не считалось чьей-нибудь собственностью, а кому нужно было, тот и одевал. Кроме того, я ходил, как представитель кружка, на собрания таких-же представителей кружков с других заводов, где мы знакомились друг с другом и вели беседы о лучших способах пропаганды и об организации всех разрозненных кружков в один общий мощный союз. Собрания эти происходили на квартире у рабочего литейщика Виноградова с завода Лесснер на Малой Дворянской, рядом с пожарной частью, в большом деревянном доме, где Виноградов занимал очень большую квартиру. Виноградов был настолько развитой человек, что интеллигенция даже как-то не верила, чтобы рабочий мог быть так развит. Это продолжалось недолго, Виноградов обратил на себя внимание полиции своей деятельностью на заводе и происходившими у него собраниями, почему он и еще один, тоже очень развитой рабочий Иогансен, раньше работавший у Семянникова, скрылись заграницу в Швейцарию, где и работали на заводах.

Зимой 1874 г. заводская администрация предупредила Злобина и меня о том, что полиция очень нами интересуется и наверное нас арестуют за пропаганду, что на Злобина уже давно обращено внимание и за ним следят, так как полиция не верит в чистоту его намерений, что он поступил на завод только для того, чтобы научиться хорошо работать, как он сам об'яснял это полиции. Пришлось мне и Злобину скрыться. Кружок рабочихя передал пропагандисту Жукову, интеллигентному человеку, с которым я перед этим где-то познакомился. Жуков меня направил в Москву, дал адрес одной конспиративной квартиры, причем сказал мне, что я буду работать где-либо по указанию Московского Кружка интеллигенции и буду помогать им в знакомстве с рабочими для общей пропаганды, и что вскоре и он сам туда приедет.

В Москве я прожил приблизительно около двух недель и за это время познакомился с грузинами Гамкрелидзе старшим, с Здановичем, князем Инциаловым и другими, фамилии которых не помню, а также с приехавшими из Цюриха девушками Любатович Ольгой и Верой, Хоржевской и, кажется, Батюшковой или Бардиной, хорошо не помню. Затем мне кто-то сказал, что в Москве мне незачем оставаться, так как там имеются и другие рабочие как фабричные, так и заводские, которые могут помочь членам кружка в знакомстве с рабочими, а чтобы я ехал в Одессу, куда вскоре приедут некоторые из членов кружка и там решат на месте, что и где нужно делать.

Приехал я в Одессу с рекомендательным письмом к Гамкрелидзе (младшему), который тогда учился в Новороссийском Университете, и поселился у него на квартире, где он проживал вместе с грузинским князем Микеладзе и русским князем Трубецким.

Эти люди, как и сам Гамкрелидзе, были только либералами и кое в чем помогали революционерам. Спустя несколько месяцев приехал в Одессу и Жуков из Петербурга с одной барышней Афанасьевой и еще какой-то революционер из грузин, а затем приехали Вера и Ольга Любатович и Хоржевская. Здесь я поступил работать на какой-то маленький заводик и вскоре познакомился с Заславским и его кружком рабочих.

Заславский имел, свою типографию и, конечно, все его рабочие были распропагандированы и были членами его кружка, причем он посвящал своих рабочих в коммерческое дело типографии,—какие имеются расходы на производство и какая получается прибыль, которая и делилась между рабочими, согласно их квалификации, за вычетом известной небольшой части на революционное дело. Заславский представлял собою тип какого-то аскета. Худой, высокий, очень бледный, с ввалившимися щеками и рыжеватой бородой, но очень подвижной и деятельный, обладающий красноречием и живущий хуже, чем его последний рабочий,

он производил на рабочих сильное впечатление и своим образом жизни, которым показывал пример, как нужно жить для других. Он приютился с семьей в маленькой комнатке при типографии и почти каждую ночь работал в типографии, от чего его рабочие отговаривали, чтобы он пожалел свое здоровье. Заславский, хотя сам и был высокоинтеллигентным человеком, но с интеллигенцией знакомства не вел и никто из них к нему не ходил, за исключением его приятеля, либерала Эйтнера, владельца большой переплетной мастерской, рабочие которой все были распропагандированы Заславским и были членами его кружка, чем Эйтнер не особенно был доволен и часто ругался.

Я был постоянным посетителем типографии Заславского и нередко оставался ночевать в типографии где-либо на полу на обрезках бумаги, и приводил к Заславскому других рабочих, которых мне удалось распропагандировать. Он их сортировал и некоторых отбирал для своего кружка и занимался с ними особо, развивая их в революционном направлении.

III.

Кружок Заславского.

Южно-Русский союз рабочих.—Первое знакомство с Желябовым.

Кружок Заславского быстро расширялся и превращался в Южно-Русский союз рабочих, но в это время произошла какая-то тревога, полиция что-то узнала, и Заславский тотчас-же принял меры, отдал приказ временно прекратить всякие собрания и сидеть смирно, что и было выполнено.

Меня, как нелегально проживающего по подложному паспорту, нужно было скрыть куда-либо на время из Одессы и он, получив от Эйтнера рекомендательное письмо к Начальнику Телеграфа Вруцевичу, приятелю Эйтнера, отправил меня в Кременчуг. В Кременчуге я прожил около 3-х месяцев. Летом 1874 г. работал в телеграфной мастерской, куда меня определил Вруцевич, причем он взял с меня слово, чтобы я не занимался пропагандой, все революционные книжки отобрал и посоветовал меньше работать, а чаще купаться в Днепре и кататься на его лодке и, вообще, укрепить свое здоровье, для чего и поселил меня у себя на квартире, где я имел обильный стол. По возвращении в Одессу, куда меня вызвал Заславский, я застал еще большую революционную деятельность Заславского по организации кружков рабочих, а меня он просил, чтобы я познакомился с представителями этих кружков для организации Центрального Кружка.

В это время я познакомился, не помню через кого, с Желябовым, который мной интересовался, и виделся с ним, кажется, около трех раз. В то время он был студентом Новороссийского Университета и хотел через меня познакомиться с рабочими, но я ему в этом отказал, так как Заславский из конспирации не делал этого. Члены Московского Кружка, приехавшие из Москвы, увидели, что им нечего делать в Одессе, потому что Заславский не хотел их знакомить со своими кружками из опасения провала по их неосторожности и непрактичности, а сами они не могли вести пропаганду без помощи рабочих, почему и решили раз'ехаться кто куда, причем меня убедительно просили поехать в Тулу с Ольгой Любатович, где я должен нанять квартиру, поступить на железную дорогу, и заняться пропагандой. Заславский не желал со мной расставаться и просил не уезжать, но я ему говорил, что не желаю бросать москвичей и желаю вместе с ними работать.

Перед от'ездом я указал Заславскому на особенно выдающихся рбочих, с которыми я успел близко сойтись и до некоторой степени узнать их. Это были очень развитые рабочие, пылкие, энергичные натуры, как братья Наддачины, братья Иван и Игнатий Ивичевичи, Антонов, Наумов и др., фамилии которых не помню, и посоветовал ему организовать из них особую боевую дружину,

которая будет защищать рабочую организацию от шпионов, будет руководить забастовками и, вообще, вести активную борьбу с правительством. Мысль эта Заславскому понравилась и он, может быть, вскоре и сам бы до этого додумался, и он был очень перегружен революционной работой, и вскоре же, как я узнал впоследствии, организовал дружину.

IV.

Тула—Харьков—Киев—Кременчуг.

Предатель Ковалев.—Охранник Судейкин.

По приезде в Тулу, я поступил на железную дорогу в мастерские, снял отдельный домик в порядочном отдалении от мастерских для того, чтобы было ближе ходить к нам рабочим и с Оружейного завода. Любатович жила в качестве моей сестры и занималась с рабочими по обще-образовательным предметам, а также и пропагандой. Относительно Ольги Любатович, моей названной сестрицы, я должен сказать, что это была одна из умнейших девушек, каких только я встречал в революционной среде, и только одна Перовская могла с ней равняться по уму, энергии и по беззаветной любви к рабочему классу и ко всему русскому народу. Не долго продолжалась наша работа, каких-нибудь два месяца, как в один вечер, в конце сентября или октября 1873 года, один рабочий Василий Ковалев, которого кто-то привел к нам на квартиру, пошел в жандармское управление, где и заявил, что знает такую квартиру, где против царя читают книжки, и сам привел жандармов и полицию.

Впоследствии на суде, по процессу 193-х, он фигурировал, как раскаявшийся. Я пошел на стук в ворота отворить калитку в одной рубашке и без фуражки, и когда открыл, то ворвались полицейские и жандармы, и Ковалев указал им вход в квартиру. Я так был поражен этим, что, выйдя за калитку, долго смотрел в окно и наблюдал за обыском, потом холод и дождь отрезвили меня и я думал сначала пойти в квартиру, но сообразил, что я этим никому пользы не принесу, а потому пошел к одному рабочему самоварщику, который дал мне поддевку и фуражку, но ночевать у него нельзя было, так как и его знал Ковалев и он боялся обыска и ареста. Ночевал я в поле под кустом, где едва не закоченел, а утром пошел бродить по городу и несколько раз подходил к своей квартире, где сидела под караулом моя бедная сестрица, которую не отправляли в тюрьму в надежде, что я приду. Так продолжалось несколько дней и ночей. Я нигде не имел пристанища, а должен был ночевать в поле, где сильно мерз, но все надеялся как-нибудь ночью пробраться в квартиру и освободить Ольгу, для чего подговаривал рабочих помочь мне, но никто не соглашался. Дня через три мне уже было опасно ходить днем по городу, потому что Ковалев с переодетыми жандармами ходил по улицам в надежде встретить меня. Помнится, на четвертый день какая-то барышня назначила мне свидание в Городском саду, куда принесла 10 р. денег и подложный паспорт и советовала ехать прямо в Киев, при чем дала записку с двумя адресами квартир, которые я запомнил, а записку тотчас-же разорвал.

Приехав в Киев, я пошел на Жимянскую ул., но, подходя к дому, увидел расстрелянную квартиру, со следами многочисленных пуль в стенах, рамах и с разбитыми стеклами. Я остановился и стал спрашивать у ближайших соседей, что это значит. Мне рассказали, что когда полиция хотела пойти туда, то из квартиры стали стрелять, жечь какие-то бумаги, причем убили одного жандарма, затем полиция и жандармы отступили и долго обстреливали эту квартиру. Тогда я пошел по другому адресу в квартиру какого-то учителя, у которого прожил, скрываясь, несколько дней, пока не пришел один из революционеров, известный под кличкой „Кот Мурлыка“, который и сообщил мне, что разгромлена конспиративная квартира и погибли члены Одесской рабочей боевой дружины, смертельно ранены братья Иван и Игнатий

Ивичевичи и был также ранен в голову тоже мой хороший знакомый рабочий Гриша, который вскоре на суде фигурировал, как „неизвестный № 1, раненый в голову", потому что был и „неизвестный № 2", тоже раненый. Гриша, фамилию которого не помню, стрелял почти в упор два раза в жандармского офицера Судейкина, но тот только покачнулся на ногах: пули не могли пробить кольчуги, одетой Судейкиным, несмотря на то, что у Гриши был револьвер самого крупного колибра, так называемый медвежатник. Остальные жандармы тоже все были в кольчугах. Боевая дружина рабочих защищала квартиру интеллигенции в то время, как те сжигали все компрометирующие документы и паспорта, а жандармы пытались ворваться и не дать сгореть документам. „Кот Мурлыка", впоследствии известный под фамилией Колодкевича, посоветовал мне уезжать из Киева, где было опасно оставаться, и дал денег на дорогу и адрес в Харьков. Перед от'ездом я сходил на кладбище, где были похоронены мои товарищи Братья Ивичевичи, и видел крест и могилу, всю украшенную цветами и венками, которые приносили туда учащаяся молодежь и либеральные барыни.

По приезде в Харьков, я нашел по данному мне адресу студента Ветеринарного Института Быховцева, который тоже посоветовал мне не оставаться в Харькове, а переждать где-нибудь в маленьком городке, пока полиция не успокоится, так как в это время и в Харькове были аресты. Совершенно не помню точно, сколько времени я прожил в Харькове и какого знакомого разыскивал, ходя за город по рельсам на завод „Новая Бавария", но думаю, что через месяц приблизительно я уехал в Кременчуг, надеясь поступить в телеграфную мастерскую к начальнику телеграфа Вруцевичу, у которого я летом скрывался. Но оказалось, что Вруцевич умер, и я поступил работать в железнодорожные вагонные мастерские, в посаде Крюков, на другой стороне Днепра, где вскоре завел большое знакомство с рабочими и встретил нескольких рабочих уже распропагандированных, почему вскоре же и организовал кружок, в котором завелась своя библиотека из книг революционного содержания и касса, в которую рабочие вносили известный процент.

Революционную литературу я получал от местной Кременчугской интеллигенции, знакомство с которой как я свел,—положительно не помню. Проживал я в квартире некоего Медведева, однофамильца с петербургским, который служил конторщиком в мастерских дороги и жил с матерью и сестрой. Медведев был сын помещика и когда-то жил богато в Полтаве, а потом отец его раззорился и ему пришлось содержать семью на скудное свое жалованье. Мне удалось скоро его увлечь на революционное дело, за которое он взялся с большим пылом и энергией, так как был человек увлекающийся и очень неосторожный, что скоро и сказалось. Я ему советовал, чтобы он во время пропаганды не затрагивал религии, потому что рабочие в то время относились враждебно к тем людям, которые не признавали бога, но Медведев моего совета не исполнил и в результате донос со стороны рабочих. Так, однажды вечером зимой 76 г., когда я с Медведевым возвращался из Кременчуга домой на квартиру, причем у Медведева был узел с революционными книгами, а у меня полны карманы журналами „Земля и Воля", в том числе и самый последний №, недавно выпущенный, который мы только что получили от интеллигенции, то, при входе в квартиру, мы встретили двух жандармов, а в комнате у Медведева сидел жандармский офицер и что-то писал. Офицер, при входе Медведева, любезно с ним поздоровался за руку, как со старым знакомым, извинился, что он должен был произвести у него обыск по долгу службы, хотя это было и неприятно, и, вообще, наговорил много любезностей его матери и сестре и затем дал ему подписать протокол, который предварительно прочитал. В протоколе, насколько я помню, было сказано, что Медведев лично известен этому офицеру с самой хорошей стороны и что при обыске ничего преступного не найдено. На меня офицер не обратил ни малейшего внимания и я прошел в свою комнату, где и разгрузил карманы от революционной литературы, а потом вернулся в комнату Медведева, где в это время мать и сестра Медведева угощали жандарм-

ского офицера чаем с булками и любезно беседовали. Окончив чай, офицер стал прощаться с семейством Медведева и сказал ему и матери с сестрой, что в Полтаве, откуда он приехал, получен донос, подписанный двумя рабочими, фамилии которых он назвал, и что, несомненно, этим дело не кончится, а будет устроено негласное наблюдение, как за самим Медведевым, так и за проживающими у него неблагонадежными лицами, почему и советует быть как можно осторожней.

Признаюсь, я был очень поражен результатом такого обыска и стал спрашивать у матери Медведева, что это значит, разве жандармский офицер не смотрел нашу библиотеку, где много запрещенных книг. Она мне сказала, что этот офицер, хороший их знакомый, бывал принят в их доме в Полтаве и сватался за одну из дочерей, но получил отказ, и что он не способен сделать такую подлость, чтобы арестовать ее сына. Несмотря на это утешение о честности жандармского офицера, я считал, что мне не следует дольше оставаться в квартире Медведева и, вообще, лучше совсем уехать из Крюкова, с чем согласились и мои кременчугские знакомые, и я, спустя приблизительно недели две после обыска, еще оставался в Крюкове для того, чтобы передать знакомство с рабочими и весь кружок одному из кременчугских интеллигентов, помнится Абраму или Арону, сыну местного купца, но фамилию его совершенно забыл, как и остальных его товарищей, после чего я уехал в Киев.

V.

Разгром кружка Заславского.

Арест Заславского.—Арест Наддачина.—Работа на шахте.—Щербинин.

Положение мое тогда было плохо в том отношении, что я был одинок, т. е. не принадлежал ни к какой организации после того, как погиб кружок москвичей, и я надеялся в Киеве примкнуть к какой либо организации. Но надежда эта не оправдалась. Я в Киеве никого из серьезных революционеров не встретил и через несколько недель уехал в Одессу.

По приезде в Одессу я узнал, что организация Заславского разгромлена, сам Заславский увезен в Петербург и посажен в Литовский замок, где впоследствии и умер от неблагоприятных или вернее тяжелых условий заключения, и что меня полиция усиленно разыскивает, как одного из самых ближайших сотрудников Заславского, причем мои приметы и фамилия Павел Деревянкин были сообщены по всем фабрикам, заводам и мастерским для того, что если бы я куда-нибудь поступил на работу, то администрация должна была немедленно сообщить об этом полиции.

Все мне советовали уезжать немедленно из Одессы, и в особенности жена Заславского, из опасения за мужа, которому мой арест сильно повредил бы, так как тогда было бы установлено, что он имел сношения с „нелегальным“, а в то время „нелегальный“, это было какое-то пугало для правительства. Совета этого я исполнить не мог, потому что мне нужно было узнать все подробности разгрома и выяснить, нельзя ли было мне восстановить организацию и передать ее кому-либо из серьезных революционеров.

Я оставался в Одессе и поступил работать на маленький заводик, который находился вблизи города, отделяясь оврагами в местности называемой Романовка. Хозяин этого завода, француз Баллен-дю-Балли, был либерал, сочувствовавший революционному движению, почему я к нему и обратился с просьбой поработать у него на заводе, но чтобы он не сообщал полиции о моих приметах и, вообще, не сообщал, что он принял нового рабочего, также не прописывать моего нового паспорта, так как я скрываюсь от полиции. Дю-Баллен порядочно струхнул и сначала отказал, но когда я ему сказал, что я расскажу в городе всем либералам, какой он трус и ему никто руки не подаст, тогда он

согласился принять меня к себе на завод, дать квартиру в своем доме и стол.

Проработав у него несколько месяцев и уходя каждый вечер и праздник в город, я успел основательно ознакомиться, насколько разгромлена организация и узнать до некоторой степени и причину ареста Заславского.

Оказалось, что Заславский не отказался от искушения имея собственную типографию, чтобы не отпечатать каких-то воззваний или прокламаций, которые в то время были нужны, и он их отпечатал, а рабочие их расклеили по всем заводам и фабрикам. Полиция переполошилась и стала раздумывать, в какой-бы это Одесской типографии могли быть отпечатаны эти прокламации и, конечно, обратила внимание на типографию Заславского, который уже давно был у нее на примете, как выделяющийся своим образом жизни, почему и произвела обыск в его типографии, где среди бумажного мусора нашла несколько испорченных или пробных оттисков печатавшихся прокламаций. Тогда арестовали Заславского и всех его рабочих, которые работали у него в типографии. На другой же день после ареста весь город об этом знал и, конечно, узнали об этом и рабочие всех кружков, во главе которых стоял Заславский, при чем более выдающиеся рабочие и более близкие к Заславскому, которые могли быть арестованы, поспешили скрыться. Члены же боевой рабочей дружины в большинстве еще раньше уехали из Одессы в другие города, где часть их в Киеве и погибла. Остальные же рабочие типографии почти все были освобождены за неимением улик, а за смертью Заславского и само дело его прекратилось в дознании, окончившееся только высылкой нескольких рабочих в административном порядке. Мне оставалось только спаять разорвавшиеся концы отдельных кружков, находящихся на разных заводах и передать руководство над ними какой-либо организации из серьезных революционеров интеллигентов, что я и сделал. Я передал организацию рабочих кружков Малинко, впоследствии казненному вместе с другими (Чубаров, Лизогуб). Малинко был серьезный революционер-организатор, с которым я проживал на квартире некоторое время в первый мой приезд в Одессу, так что дело организации попало в надежные руки, и мне можно было уехать из Одессы тем более, что и мой француз дю-Балли стал сильно трусить, потерял сон и аппетит и не знал, как от меня отделаться.

Из Одессы я поехал в Ростов-на-Дону к Наддачину старшему, одному из самых близких людей к Заславскому, человеку очень развитому и энергичному пропагандисту, который уехал туда с несколькими товарищами из кружка Заславского, фамилии которых я забыл, захватил я с собой и революционную литературу, но не много. Хорошо помню, что это было зимой, так как по дороге на станции Константиновка и Никитовка поезд был занесен снегом, как и другие поезда, шедшие из Харькова, и только через пять суток удалось выбраться из снегов.

По приезде в Ростов, я отправился к Наддачину и хорошо сделал, что не пошел на квартиру, а к воротам мастерских Владикавказских ж. д., где и узнал, что Наддачин несколько дней тому назад арестован и сидит в тюрьме, тогда я пошел к другому рабочему токарю, работавшему на мельнице Посохова, тоже члену кружка Заславского, который мне сказал, что арест Наддачина произошел из-за его слишком широкой пропаганды, что он очень увлекся и выступал с речью на собрании рабочих в мастерских дороги, что было с его стороны большой неосторожностью. Токарь мне посоветовал не оставаться в Ростове, где и без меня есть достаточно пропагандистов, а поехать на шахты, где, как он знал, нет никого, кроме одного машиниста Щербинина, да и тот ничего не делает, потому что и сам недостаточно распропагандирован, и мне нужно взяться за него по основательнее и через него мне можно иметь сношения с Ростовским кружком, потому что Щербинин часто ездит в Ростов, так как мельница в Ростове и рудники на шахтах одного хозяина Посохова.

Через день я поехал на станцию Шахтная Воронежско-Ростовской ж. д., селение Грушевка, (впоследствии Александровск). Местность эта принадлежала земле Войска Донского и управлялась своим казачьим начальством. Машинист Щербинин принял меня очень радушно

и я поступил к нему помощником на под'емную машину, где должен был дежурить по ночам, так как шахты работали день и ночь. Моя обязанность заключалась в том, что я поднимал машиной из-под земли уголь, откачивал воду и опускал и поднимал рабочих шахтеров, с которыми быстро и познакомился.

С самим Щербининым я быстро сошелся, но помогать мне в пропаганде он решительно отказался по семейным причинам, но зато стоял на страже, чтобы моя деятельность не дошла до рудничных шахтеров. Пропаганду я вел совершенно открыто, приходил в землянки, в которых помещались шахтеры, человек от 40 до 50, садился по средине на нары и читал запрещенные книжки, а потом беседовал по поводу прочитанного. Нужно было видеть, с каким глубоким вниманием меня слушали и как жадно ловили каждое слово. Здесь я считаю необходимым сказать несколько слов, в каких ужасных условиях приходилось жить шахтерам в то время. Хозяева рудников не считали нужным строить деревянные или каменные дома для рабочих, а вырывали землянки в виде погреба, темные и сырые. Кругом в землянке были нары, посредине две громадных жаровни, в которых большими кострами зимой горел уголь день и ночь для отопления землянки; правда, уголь этот, известный Грушевский антрацит—горит бездымно, но он дает много вредного газа при горении, которым приходится дышать. Громадное большинство шахтеров не имело решительно ничего из вещей, как другие заводские рабочие, в виде запасной одежды, сундучков, белья и проч. У настоящего профессионального шахтера этого не водилось, он имел одну грубую толстую рубаху, штаны, круглую шапочку, иногда фуражку и опорки, вот и весь его костюм рабочий и праздничный. Вылезая из шахты весь мокрый, он снимал рубаху и сушил ее у костра, держа в руках; рубаха быстро высыхала от сильного жара у костра, тогда он ее одевал и сушил штаны, затем обедал или ужинал и ложился на голые нары, где отдыхал и спал. Тюфяков, хотя-бы самых жалких, я не видел, да это считалось и излишней роскошью, и над этим смеялись, если кто и заводил. После отдыха или спанья, шахтеры спускались в шахту, которая находилась тут-же рядом, а в шахте зимой тепло, да и лишняя одежда только мешала-бы работать. В праздник шахтеры, если имели деньги, шли в кабак, напивались пьяными и дрались с другими шахтерами, затем обедали и отдыхали и тем заканчивался праздничный день, а с вечера на ночь уже 1-я смена лезла в шахту.

VI.

Пропаганда.

Встреча с Баранниковым.—Быховцев.—Кружки шахтеров.—Арест и освобождение.—Осинский.—Ильин.

1876.

Вскоре оказалось, что я один не в силах вести пропаганду в широких размерах, да и литературы революционной у меня очень мало, а обще-образовательной и совсем нет. Тогда я послал Щербинина в Ростов с тем, чтобы он привез разных книг и пригласил бы людей мне в помощь, но он, не смотря на то, что раза три ездил, ничего не смог сделать, книг в Ростове тоже было мало и ему не дали, а из людей никто не согласился ехать на вольную каторгу, как тогда называли шахты.

После этого я решил сам поехать в Одессу.

В начале лета 1876 г. я поехал туда, предварительно побывав в Ростове, где убедился в справедливости слов Щербинина, что литературы в Ростове мало, а люди не желают ехать на шахты.

В Одессе меня встретили с радостью как рабочие, так и члены организации Калинко, и быстро собрали мне два громадных чемодана литературы с тем, чтобы я мог часть уделить и для Ростова. Относительно же людей, к сожа-

лению, никого не могли послать в помощь потому, что для работы под землей в исключительно тяжелых условия никого не нашлось из интеллигенции, как не обладающих физической силой и выносливостью, а в качестве машинной команды и слесарей из рабочих тоже никто не согласился ехать, других же праздношатающихся мне нельзя было привозить из опасения провала.

Через несколько дней я поехал из Одессы на пароходе обратно по Азовскому морю. Во время порядочной качки, ко мне подошел незнакомый, высокий, смуглый молодой человек и обратился с предупреждением, что один из моих чемоданов очень переполнен и оттуда чуть не вываливаются книги, и что мне нужно быть осторожней. Я тотчас же прикрыл чемодан своим пальто. Затем он стал меня расспрашивать, откуда я везу такую массу книг и куда, но я неохотно ему отвечал. Тогда он мне сказал, что тут-же на пароходе есть человек, который меня знает, и, пригласив следовать за собой, привел меня к Быховцеву, студенту Ветеринарного Института в Харькове, у которого я был на квартире, когда приезжал в Харьков. Быховцев меня познакомил с молодым человеком, назвав его как-то по имени, но я забыл. Впоследствии я узнал из журнала „Былое", что это был Баранников, но тогда это был еще зеленый юноша, без бороды и усов. Одеты они были оба в крестьянские свитки, с котомками за плечами и косами в руках. Быховцев расспрашивал меня, откуда я еду и куда, и я ему рассказал все подробно, причем упомянул, что мне нужна помощь на шахтах и желательно, чтобы из интеллигентных людей для дальнейшего развития рабочих. Быховцева это дело очень заинтересовало и он тут-же на пароходе решил, что он передаст своего спутника юношу в Бердянске или Ростове кому-либо из революционеров, желающих идти косить сено или исполнять какую-либо другую работу для ознакомления с народом, а сам вскоре же приедет на шахты и надеется еще когонибудь привезти с собой.

Действительно, Быховцев вскоре приехал, но один, так как желающих на такую работу не нашел, и на другой же день полез в шахту работать. Он очень быстро освоился с работой и подружился с шахтерами, ни в чем от них не отличаясь, так как сам он был по происхождению из крестьян и отличался физической силой и выносливостью. Тогда дело пропаганды, как на земле, так и под землей пошло много быстрее, тем более, что Быховцев, приблизительно через месяц перешел на другую шахту, а затем и на третью. Однако, я с Быховцевым ошибся, организовывая кружок из шахтеров,—шахтеры не поддавались никакой партийной дисциплине и ничего слышать не хотели о том, что нужно организовываться и действовать общими силами. Шахтеры из наиболее развитых сами стали агитировать среди массы и устраивать частичные забастовки то на одном руднике, то на другом. Хозяева рудников переполошились и стали разузнавать, какая это зловредная муха искусала безответный и покорный им рабочий скот, который вдруг стал брыкаться и пред'являть разные экономические требования, чего раньше никогда не бывало.

Не надеясь на казачью полицию, которая была совершенно равнодушна, они спустили своих псов-ищеек и те скоро разнюхали, в чем тут дело. Я не знал, или вернее забыл, под какой фамилией жил на шахтах Быховцев, и не знал, хороший-ли у него был паспорт, так как просто не интересовался этим, но зато помню, что у меня самого был очень скверный паспорт. Он был с вытравленным текстом, а потом написан на новое лицо и, очевидно, эта операция вытравления была плохо произведена, потому что старый текст со временем стал появляться между строк нового в виде желтых букв. На это обратил внимание управляющий рудника еще в начале, как только я поступил, и ругал меня бродягой, проживающим по фальшивому паспорту. Я мог ему только возразить, что все-таки у меня имеется паспорт, хотя и фальшивый, а что он сам, с целью большей эксплоатации, держит больше половины рабочих совсем беспаспортных.

Хозяйские ищейки узнали, что ведется систематическая пропаганда на всех рудниках и началась она с шахт Посохова, после чего управляющий просил казачью полицию о моем задержании. Меня арестовали и посадили в местную каталажкуклоповник, а Быховцев успел скрыться. В

эти же дни собрание хозяев и управляющих выбрали из своей среды уполномоченных, которых и послали в Новочеркасск и Ростов к высшему начальству с просьбой о защите их интересов и с жалобой на местную казачью полицию, которая никаких мер не принимает, а скорее сочувствует, в доказательство чего приводились и факты, как это я впоследствии узнал. Из Новочеркасска и Ростова выехала жандармерия и прокуратура, но еще до их приезда, через несколько дней после ареста, меня освободил местный казачий начальник, который сказал мне, чтобы я шел на работу, и если опять явится на шахту Быховцев, так чтобы я сообщил ему об этом.

После освобождения мне необходимо было скрыться, о чем я сообшил Щербинину, и просил его сохранить библиотеку, передав ее на другие рудники в руки служащих, где она будет сохранна, а знакомство с шахтерами передать другим революционерам, которые вскоре приедут из Ростова. После этого я уехал в Ростов, где на конспиративной квартире получил новый хороший паспорт на имя Ивана Ивановича Александрова, который принес мне секретарь городской управы Валериан Осинский, собственноручно им написанный. Впоследствии Осинский был казнен в Киеве, как первый организатор партии террористов.

Получив такой хороший паспорт, я мог свободно проживать где угодно и отдал его в полицию для прописки, но оставаться мне в Ростове не было особой надобности, в виду избытка революционных сил, и мне посоветовали отправиться куда-либо в глушь, где никого нет. Вскоре, еще до моего приезда, я встретил вторично на конспиративной квартире Осинского, который вынужден был покинуть свою службу в городской управе, так как его обширная революционная деятельность среди местной интеллигенции обратила на себя внимание полиции. Он неминуемо должен был быть арестованным, почему и захотел идти в народ пропагандировать, переодевшись в крестьянское платье. В этом ему никто и не препятствовал, а только хвалили его костюм. Когда же я посмотрел на него, то невольно расхохотался и сказал ему, что он далеко от квартиры не уйдет, так как первый же городовой задержит его как переодетого „сицилиста". Мой смех над ним его обескуражил и он стал говорить, что он выйдет из квартиры вечером, когда его никто не увидит. Тогда мне пришлось серьезно ему сказать, что он похож на крестьянина, как оперный статист из „Жизни за царя". Осинский представлял тогда такую фигуру: высокий стройный красавец, блондин, с нежными аристократическими чертами лица, с белыми нежными руками, в новеньком крестьянском костюме, который, по его наивности, был им заказан портному, в золотых очках, без которых он не мог обойтись, и с тростью в руках,—и это был крестьянин, каковым он себя воображал. Мои слова подействовали на него и он стал снимать с себя маскарадный костюм, а я ушел из квартиры и больше Осинского не встречал, так как вскоре уехал из Ростова.

При от'езде из Ростова я получил немного революционной литературы и денег на дорогу и поехал в Владикавказ, откуда по Военно-Грузинской дороге в Тифлис, где не останавливался, так как знал, что в Тифлисе нет никаких фабрик и заводов и нет железно-дорожных мастерских. Дальше я проехал до станции Квириды, но оказалось, что там только депо, а главные мастерские Поти-Тифлиской ж. д. находятся на станции Михайлово (селение Кошури), куда я и вернулся обратно. Дня через два или три я уже работал в мастерских слесарем и вскоре обратил внимание на некоторых рабочих, революционно настроенных, с которыми я близко познакомился, и узнал, что их распропагандировал инженер-технолог Ильин, который работал в другом отделении и был бригадиром по ремонту и сборке паровозов. С Ильиным меня познакомили эти же рабочие и я с ним подружился. Он называл меня племянником, а я его дядюшкой. Мой дядюшка оказался большим пьяницей, он распропагандировал только двоих или троих рабочих, а потом бросил дело, запьянствовал и перестал думать о пропаганде. Мне не удалось совершенно отвлечь Ильина от пьянства, но, как говорили другие рабочие, он заметно стал меньше пить и был мне очень полезен тем, что познакомил меня со

всеми рабочими, на которых нужно было обратить особенное внимание, как на самых подходящих людей, распропагандировав которых, можно будет и организовать кружок. Ильин мог бы занимать и командную должность, так как все высшее начальство были его товарищи по институту, а он превосходил их своими знаниями и практикой, но он не хотел этого, потому что тогда ему нельзя было бы пьянствовать. Ильин мне посоветовал сразу же вести пропаганду в самых широких размерах, так как железно-дорожного начальства бояться нечего, оно во время предупредит его об опасности, а туземцев тоже бояться не следует, так как они плохо понимают по-русски.

VII.

Михайловка.

Пропаганда среди ж.-д. рабочих.—Борьба за 10-ти час. рабочий день.—Бегство от жандармов.—Возвращение в Ростов.

Пропаганда началась сразу во всех трех больших отделениях мастерских, но мне пришлось обратить внимание на одно очень печальное явление среди русских рабочих, с которым пришлось серьезно бороться. Русские рабочие смотрели на туземцев грузин, имеретин, мингрельцев и других свысока, с презрением, как на низшую расу, считали себя, как победители, высшей расой и на каждом шагу обижали туземцев обидными словами, как „мерило", „ишак Карабахский", на что туземцы тоже отвечали „мамы двагло русско" (сын собаки русской). Вообще, существовала вражда между русскими и туземцами. Русские рабочие, кто только хотел, имели револьверы, а туземцам это было запрещено и они имели только кинжалы и старые кремневые пистолеты, да и те преследовались до некоторой степени, как огнестрельное оружие, так что и тут русские имели громадное преимущество. В заработной плате тоже была большая разница.

Мне приходилось убеждать русских рабочих, что нельзя так относиться свысока и с презрением к туземцам, что мы рабочие все должны быть братьями без различия национальностей, что у нас один общий враг—царское правительство и капитализм. Рабочие меня слушали, но я не мог похвалиться успехом, это дело трудное—бороться с такими предрассудками, да и время на это нужно более продолжительное, чем несколько месяцев, которые я прожил в Михайловке. Организовать кружок мне все-таки удалось из более развитых и энергичных рабочих, но весной 1877 г. мне пришлось уехать из Михайловки, потому что из Тифлиса приехали соглядатаи—человек шесть,—из которых некоторые были переодетые жандармы с офицером во главе. Их признали железнодорожные жандармы и один из них, который пьянствовал с Ильиным, предупредил его, да и железнодорожное начальство тоже предупредило Ильина о том, что приезжие наводили справки относительно его Ильина, меня Александрова, Хренникова, Пономарева, Гаврилова и др. рабочих.

Цель приезда жандармерии заключалась в том, чтобы выяснить причину волнений среди рабочих, которые требовали уменьшить рабочий день до 10 часов, но о прибавке заработной платы не заикались, так как она была тогда довольно высока, а жизнь очень дешева, так, например, обед из 2-х блюд мясных с вином в $^1/_2$ чурека стоил 20 коп. (чурек вина равняется $1^1/_4$ бут.). Впоследствии выяснилось, как об этом мне сообщил Ильин, с которым я потом встретился в Полтаве, что на нас был сделан донос греком Ян, кухмистером, у которого я и многие рабочие столовались; он прислушивался к революционным разговорам рабочих, за что его рабочие вскоре и убили. Перед от'ездом из Михайловки я познакомился с очень интересными двумя людьми—армянином Тавакаловым и имеретином или мингрельцем, хорошо не помню—Гиго, а фамилию забыл, которые были очень интеллигентные люди, в особенности Та-

вакалов. Работать они почти не умели, а только еще учились, но начальство их держало и до некоторой степени защищало от оскорблений со стороны русских рабочих. Была у них литература и нелегальная на армянском и грузинском языках, которую они распространяли среди туземцев. Тавакалов возил меня в Сурам, маленький городишко у подножья Сурамского перевала, где познакомил с некоторыми интеллигентными людьми из туземцев.

Я уговорил уехать со мной более выдающихся по развитию и энергии товарищей рабочих, которые могли быть арестованы, как-то: Хренникова, Пономарева и Гаврилова, но уехать было не так просто, за нами следили, и если-бы кто из нас сел в поезд, то немедленно был-бы арестован.

Тогда мы так уговорились, что отдадим наши вещи, как чемоданишки и одеяла, знакомым кондукторам, до некоторой степени сочувствующим революционному делу, и они, идя на ночной поезд, забрали наши вещи к себе в багажное отделение, а Ильин подговорил машиниста, своего приятеля, чтобы он у семафора дал тише ход для того, чтобы можно было вскочить на ходу поезда.

Сами мы, придя вечером домой, легли по обыкновению спать в известное время и сыщики оставили нас в покое до следующего дня, мы же перед поездом незаметно выбрались из своих квартир и пошли к семафору, где и вскочили в проходивший поезд, так что, когда на следующий день нас хватились, то в это время мы уже ехали по Военно-Грузинской дороге, оставив Тифлис за собой, и благополучно приехали во Владикавказ через двое суток, в разное время дня, смотря по тому, кто ехал с какими фургонами, где мы и встретились.

Своих товарищей я не хотел везти в Ростов, где было достаточно людей, и откуда мне писали, чтобы я обратил внимание на Ново-Георгиевск, где в крепости, в Арсенальных мастерских, по случаю войны с Турцией, идут усиленные работы и собралось много рабочих металлистов, а пропагандистов нет, почему я и направил своих товарищей туда, дав им ростовский адрес для переписки и обещав, что если не я приеду, то кто-либо из ростовских товарищей к ним приедет.

Возвратившись в Ростов, я застал большое оживление революционной деятельности как среди интеллигенции, так и среди рабочих, в особенности, среди рабочих Владикавказской ж. д. В это-же время члены партии „Земля и Воля" вели пропаганду среди рабочих, временно пришедших в Ростов как на полевые работы в окрестностях, так и на работы по нагрузке и разгрузке разных барж и судов, а также и среди босяков и золоторотцев, причем среди последних, как мне говорили, пропаганда не имела успеха.

Здесь особенно выделялся известный землеволец Михаил Родионович Попов, сын священника со станции Степной, с которым я познакомился, не помню через кого.

Михаила Родионовича все глубоко уважали, как человека безгранично преданного и любящего обездоленный народ, и сам он производил сильное впечатление на тех, кто с ним сталкивался и на кого он влиял своим обаянием; его можно сравнить только с одним Сергеем Силичем Синегубом, который производил такое-же сильное впечатление своей светлой личностью.

Мне в это время хотелось заняться среди крестьян и я обратился за советом к М. Р., он обещал мне это устроить, порекомендовав меня своему брату, деревенскому кулаку, который вместе со своим отцом священником имел порядочное количество земли и покупал молотильную машину в Ростове, для которой нужен был машинист

Здесь я должен оговориться, память мне совершенно изменяет, как я ни напрягаю мысль. Дело в том, что я в это время ездил в Киев, именно, летом, не раньше и не позднее, потому что в 76 г. я не мог ехать в Киев из Ростова, так как я ездил в Одессу, также и в 78 г., я поехал туда позднее. Не помню, для чего я туда ездил и по какому делу, это меня удивляет, что я не могу вспомнить, а между тем, я там был арестован, хотя всего на несколько часов, и все обстоятельства ареста помню в мельчайших подробностях.

VIII.

Снова в Ростове.

Григорий Сидорацкий.—Агитация среди крестьян.—Школы агитаторов.—Рабочий Бачин.

По приезде в Киев я познакомился с Гришей Сидорацким, молодым юношей лет 17-ти, очень пылким революционером и крайне впечатлительным и нервным, который уговорил меня пойти с ним в один из назначенных дней в деревню Демеевку, верстах в трех от города, где на сахарном заводе много рабочих из крестьян, и почитать им революционную книжку „Парова молотилка". Сам он один не может это сделать, потому что у него слишком барский вид, да и он не знает, как подойти к рабочим, но надеется, что он скоро всему научится.

Придя в Демеевку, я с Гришей направился в чайную, куда вскоре пришли и рабочие по окончании работ; с ними я и заговорил, спрашивая их, нельзя ли к ним на завод поступить мне слесарем в ремонтную мастерскую, а затем вскоре предложил почитать им интересную книжечку, которую все слушали очень внимательно и одобряли. Расстались мы друзьями, но, по выходе из чайной, меня и Гришу моментально схватили под руки сельские или деревенские власти с бляхами на груди и палками в руках, и вот, четыре хохла нас повели, а пятый командовал, чтобы вели „паничей" в холодную (меня тоже приняли за панича, благодаря городскому костюму), а он пошел с докладом к приставу. По приходе в холодную, Гриша стал сильно буйствовать, кричал, чтобы немедленно позвали пристава, колотил в двери руками и ногами и выбил стекло в окне. Вскоре явился и пристав, на которого Гриша набросился прямо с кулаками, крича, что как он смел его арестовать, он—сын известного в Киеве домовладельца, его отец—член городской управы, хорошо знаком с губернатором и т. д. Пристав, видимо, струсил, стал извиняться, сейчас же приказал принести в камеру свежей соломы, вынести парашку, открыть дверь, чтобы освежить камеру от страшного зловония, причем сказал, что он сейчас-же поедет в город и скоро вернется, а пока просил иметь терпение и посидеть. В это время мы узнали от сторожививших нас хохлов, что когда я читал книжку, то под открытым окном сидел волостной писарь и хотя был пьян, но внимательно слушал. Пристав часа через три вернулся из Киева еще раз извинился перед Сидорацким, сказав ему, что он свободен, а меня хотел задержать для выяснения личности, но Сидорацкий сказал ему, что он за меня ручается, так как я работаю в доме его отца по ремонту водопровода и другим слесарным работам, после чего он и меня освободил.

Вскоре Сидорацкий уехал в Петербург, где и погиб от пули жандармов в то время, когда освобожденная Вера Засулич в карете выехала из ДПЗ (дома предварительного заключения). Жандармы хотели ее арестовать, а толпа молодежи ее защищала и отбила, причем жандармы стреляли в толпу. По другим источникам, как сказано в журнале „Былое", Сидорацкий сам застрелился, что мало вероятно.

Возвратился я в Ростов в июле месяце, перед началом молотьбы хлеба, откуда и поехал на станцию Степную, Владикавказской ж. д., а оттуда в село, которое находилось вблизи станции, где проживал священник Попов. С молотилкой выехали в поле верст за 12 от села и другие для уборки хлеба, все были русские крестьяне, которые приходили на летние заработки к богатым хохлам и помещикам.

Каждый день после работы и ужина я собирал всех рабочих возле своего шалаша и читал им разные революционные книжки, вел беседы по поводу прочитанного, а грамотным раздавал книж-

ки для того, чтобы они, придя к себе в деревню, могли почитать своим землякам. Чтение таких революционных произведений, как—„Чтой-то, братцы, как тяжко живется рабочему люду на святой Руси“ и „Хитрая механика“, производили на крестьян сильное впечатление, может быть такое же, как в первые века проповедь христианства—религии рабов, всех угнетенных и обездоленных. Крестьяне жадно слушали каждое слово, стараясь не пропустить его и запомнить; наступала ночь, пора-бы и спать после тяжелого трудового дня, а я все читал и читал и отвечал на разные вопросы по просьбе крестьян, которые не хотели расходиться спать по шалашам. В праздник я находил время читать „Сказку о четырех братьях“, где затрагивалась и религия, выбранным мною более молодым людям, и отдельно от других, уходя куда-либо дальше в поле. Впечатление от этого чтения получалось еще сильнее.

За время молотьбы я раза два ездил в Ростов за литературой и затем, чтобы рассказать М. Р., как хорошо идет дело пропаганды. Я просил его, чтобы он приехал сам или кого-либо прислал из интеллигентных пропагандистов, но он мне ответил, что приехать не может потому, что порвал все связи с родными и его там арестуют, так как его уже давно полиция разыскивает, а послать кого-либо тоже не может, потому что все силы уже распределены по намеченным пунктам.

По окончании молотьбы, раздав всю литературу на руки рабочим, я возвратился в Ростов, где думал поступить на какой-либо завод, но в это время обстоятельства изменились, я увлекся другим делом, а именно, организацией общественной слесарно-кузнечной мастерской, которую предполагалось открыть в Астрахани, как более удобном пункте. Такие мастерские два или три раза уже существовали в Ростове, но это были мастерские сапожные и портняжные. Цель таких мастерских была такова, что в них могли обучаться мастерству интеллигентные люди, и когда научатся работать достаточно хорошо, то идти работать и в частные мастерские и, таким путем, как-бы слиться с рабочим классом для целей пропаганды, а, с другой стороны, показать рабочим на примере, что можно обойтись без кулаков хозяев, работая самостоятельно.

Инициатором этого дела был один революционер, известный под кличкой „Степаныч“, не знаю, к какому кружку он принадлежал, но он имел достаточно средств на это дело, так как устройство хорошей мастерской требовало порядочных денег. Для того, чтобы общественная мастерская не прогорела и не обанкротилась, чтобы могла существовать на собственные средства, не требуя поддержки со стороны, нужно было подобрать искусных рабочих из среды распропагандированных. В этом деле мне помог Жучковский, который в это время занимал должность главного инструментальщика всех мастерских Владикавказской ж. д. Жучковский был человек уже пожилой, лет около 50-ти, тихий, спокойный, но очень энергичный революционер, он служил много лет на дороге, работая сначала слесарем, потом инструментальщиком, а затем заведывал целым отделом. Он знал всех рабочих и его также все знали и глубоко уважали за его доброе и сердечное отношение к рабочим и за те льготы, которые он делал в отношении поломки инструментов. Вокруг него образовался солидный кружок рабочих, да и на остальную массу он имел безграничное влияние и мог в любой момент поднять рабочую массу. Я в это время проживал у него на квартире, где также жили несколько человек из его кружка; квартира была довольно большая, так как Жучковский занимал весь небольшой дом на Темернике, вблизи мастерских, где и происходили ежедневно собрания рабочих. Особенное оживление в революционную деятельность внес приезд из Петербурга рабочего Игнатия Бачина, с которым я был знаком и даже проживал недолго на одной квартире в Петербурге. Я тогда мало обращал на него внимания и не думал, что из него выйдет такой выдающийся революционер, с которым я и встретился у Жучковского. Бачин был старше меня на несколько лет, и когда я встретил его, то это был высокий, стройный, мускулистый человек, с черными курчавыми волосами, с блестевшими глазами, довольно красивый парень, и что меня поразило, так это—

его необычайно громкий голос с металлическим тембром и то, что он научился хорошо и увлекательно говорить, как настоящий народный трибун. Когда происходили большие массовые собрания рабочих на горе, в поле за Темерником, где выступал Бачин, его голос был слышен на далеком пространстве и он очень увлекал рабочих пылом своих страстных речей против Правительства, буржуазии и всех угнетателей рабочего народа.

IX.

Встреча с Г. В. Плехановым.

В это время, как мне сообщили, приехал в Ростов Плеханов для ознакомления, в каком положении находится революционное дело, и для проверки деятельности отдельных членов партии Землевольцев. Мне сообшили также, что он желает видеть и меня. В назначенный день свидания с Плехановым я предстал пред грозные очи революционного генерала. Свидание с Плехановым произвело на меня очень тяжелое впечатление, поэтому я скажу об этом несколько подробнее.

Плеханов встретил меня очень сурово, упрекал меня за мои частые переезды с места на место, почему я не живу постоянно в Ростове, что я плохой организатор и, как видимо, не желаю заниматься организационной деятельностью, что все мои поездки оканчиваются провалами, что читать революционные книженки и раздавать их, это не большая мудрость, что для этого не требуется ни ума, ни ловкости, а вот, организационная деятельность, это—другое дело, более серьезное и полезное; требовал от меня, чтобы я указал ему, в чем выразилась моя деятельность в Ростове, т. е., что я, именно, делал и делаю в Ростове, так как, по его мнению, я напрасно тут только околачиваюсь и берусь за ненужное предприятие, как устройство общественной мастерской.

Я сознавал известную долю правды в словах Плеханова, но не считал себя особенно виновным и пробовал оправдаться тем, что я еще слишком молод для серьезного организатора, мало развит, почти безграмотен, но все-таки я иду вперед, учусь, развиваюсь и, может быть, современем из меня что-либо и выйдет более серьезное; что я не могу равняться с такими крупными силами и талантом, как Жучковский и Бачин, а делаю только то, что по моим силам, и надеюсь, что под руководством М. Р. Попова буду работать более целесообразно. Упомянул также, что читают революционные книженки и раздают их и более, чем я, серьезные революционеры, из интеллигенции и даже сам М. Р., так почему-же он мне ставит это в упрек и считает это пустяками, а я, напротив, считаю, что чем больше будет распропагандированных людей, тем лучше, и когда появится талантливый организатор, так для него уже почва будет подготовлена и он быстро организует кружки и всякую организацию устроит, в чем я и сам убедился на деле, хотя я и плохой организатор. Несмотря на мои оправдания, я все-таки оставался в роли подсудимого и виновного; тогда я решительно сказал Плеханову, что я не признаю генералов от революции и считаю себя ему не подчиненным и никакого отчета ему давать не буду, а в Астрахань все-таки поеду.

В заключение Плеханов мне сказал, что он меня считал своим, как-бы членом партии, а теперь он меня не примет, и что-бы я на это не расчитывал; я ответил ему, что и не нужно, я вступлю в другую партию, которая уже появилась на революционном горизонте. На вторичное свидание, на которое он вскоре меня пригласил, я не пошел, и больше его не видел, а затем он уехал из Ростова и, как говорили, остался недоволен деятельностью ростовских революционеров. Я долго не мог успокоиться от такого приема меня Плехановым и обошел всех ростовских революционеров, которым говорил, что я думал встретить в Пле-

хановe старшего товарища, который укажет лучший путь, какой по его мнению нужно избрать, и не так сурово отнесется, а более сердечно. Меня успокаивали тем, что он, вообще, человек суровый и требовательный, и чтобы я особенно не огорчался и не принимал-бы это близко к сердцу.

X.

Подготовка к террористическим актам.

Астрахань.—Жучковский.—Колодкевич.—Гобст.—Нападение жандармов.

1878.

Сговорившись с товарищами-рабочими, на которых мне указал Жучковский, и закупив весь необходимый инструмент для полного оборудования мастерской, я их направил в Астрахань с тем, чтобы они там наняли помещение в Кузнечном ряду, а сам же я вскоре приеду и привезу революционную литературу и, может быть, кого-либо из учеников интеллигентов, как об этом просил Степаныч. Товарищи мои были самыми искусными рабочими из всех мастеровых мастерских Владикавказской ж. д., и только я один был слаб по работе и в физическом отношении, но это не имело большого значения и вреда для мастерской принести не могло, так как среди четырех искусных работников я пятый, хотя и слабый по работе, тоже был не лишний. Фамилии своих товарищей забыл и помню только одного, по имени Алексей, как самого старшего по летам, который руководил работами и добывал заказы для мастерских, ходя по городу и разыскивая работу.

К моему приезду мастерская была уже в полном ходу. Алексей раздобыл кое-какую работу, но по крайне низкой цене, как нам казалось, так как мы не могли при всем старании заработать даже самой меньшей заработной платы, какая была в то время в Ростове. Это нас до некоторой степени обескуражило, но, при ближайшем ознакомлении, дело выяснилось к нашему великому изумлению. Оказалось, что мы плохие работники, не в смысле искусства в работе, а в продолжительности рабочего дня и интенсивности труда, что мы явились какими-то аристократами среди местных рабочих,—мы работали 11, много 12 ч. в день, как к тому привыкли по заводам, а в Астрахани нужно было работать минимум 17 ч. в день и работать самым усиленным темпом, который для нас был очень труден, и только тогда мы могли бы заработать среднюю заработную заводскую плату. Мы не гнались за заработком, нам нужна была только работа, но оказалось, что это наше желание было неосуществимой мечтой. Не достаточно было открыть мастерскую с хорошим инструментом и искусными работниками, а нужно было иметь еще постоянные заказы на работу, чего у нас не могло быть, как у людей пришлых и не имеющих тех связей и знакомства, которые имели местные кулаки-хозяйчики. К зиме 1877 г. пришлось закрыть мастерскую за неимением для нас работы и разбрестись кто куда мог, работать по частным кустарям, с надеждой, что может быть наша пропаганда будет успешной среди астраханских рабочих.

Я поступил в кузницу молотобойцем, где приходилось работать с 4-х часов утра до 9-ти часов вечера, с перерывом на $^1/_2$ часа только для обеда. Работа эта для меня была очень трудная как по напряженности, так и по продолжительности рабочего дня. Пропаганда моя не имела ни малейшего успеха, я имел возможность говорить с товарищами только во время краткого перерыва, когда греется железо в горне, а вечером после 9-ти часов после ужина. Все были так измучены работой, что никому не хотелось ничего слушать, да и сам я был не способен на чтение и разговоры. По праздникам тоже редко удавалось что-

либо почитать, так как рабочие стремились больше к отдыху и ни что их не интересовало, да и по своему развитию они очень низко стояли, почему я решил перейти работать в слесарно-механическую мастерскую, на которую мне указал тов. Алексей. Кроме нас, 5-ти человек рабочих, приехавших из Ростова, были еще человека четыре из интеллигенции, приехавшие из Петербурга, члены кружка Ольхина, с которыми мы встречались на одной квартире и сообща обсуждали свои неудачи, так как никто не мог похвалиться успехом в пропаганде. Почти общее мнение было таково, что тяжкий физический труд не только угнетает рабочего физически, но и умственно притупляет.

Заработная плата назначена была мне 6 р. в месяц на хозяйских харчах и квартире. Квартира, или вернее ночлег, была тут-же в мастерской на верстаке, а для учеников под верстаками на полу. Полной заработной платы никто из рабочих не получал, хозяин в субботу давал 20 коп. на баню и иногда на праздник 50 коп., остальное оставалось за хозяином и, в большинстве, пропадало. Если рабочий уходил от хозяина, то никакого расчета не получал, так и я, уходя из кузницы, не получил ни копейки,—таков был обычай у кулаков-хозяйчиков. Мне удалось завести знакомство с рабочими пароходных портовых механических мастерских, где рабочий день был только 12 ч. и они были более развиты. Я ходил к ним по праздникам, читал литературу и раздавал ее более надежным, но все это не то, на что я с товарищами расчитывал. Так продолжалось всю зиму до весны 1878 года, когда я поступил на пароход американского типа „Миссури“, где сначала работал по ремонту машин, а когда пароход пошел в плаванье, то был зачислен масленщиком и вскоре помощником машиниста. Товарищи мои по открытии навигации все уехали в Ростов и передали мне всю имеющуюся у них революционную литературу, которую я распространял не только на „Миссури“, но и на других американских пароходах, как „Миссисипи“, „Ниагара“, „Колорадо“ и „Бенердаки“, при встрече с этими пароходами на пристанях, где бывали стоянки от одного дня до трех суток.

Вообще могу сказать, что пропаганда моя была довольно успешна среди многочисленной машинной команды и матросов, но не продолжительна. Месяца через полтора или два главный механик, швед по национальности, пригласил меня к себе в каюту и заявил, чтобы я немедленно уходил с парохода, так как ему все известно. Он сам сочувствует революционному движению и не предаст меня в руки полиции, но за то это сделает капитан, оберегая интересы пароходной компании и не допустит забастовки всей команды во время навигации.

Я высадился в Царицыне, откуда через Калач на Дону доехал до Ростова. В Ростове за это время произошел обычный очередной разгром, многие из рабочих и интеллигентов были арестованы, другие скрылись и раз'ехались по разным городам; в числе арестованных находился и главный организатор Жучковкий, а Бачин успел тоже скрыться и вскоре, как я слышал, умер от чахотки. Все оставшиеся на свободе революционеры временно попритихли, как это всегда бывает, и мне советовали ничего не предпринимать, а скорее уезжать из Ростова. Совета этого я не исполнил, потому что не видел в этом ничего страшного, а старался только узнать подробности арестов и нельзя-ли как-нибудь восстановить мне связь железнодорожников с другими механическими заводами.

Вскоре я поступил на механический завод на берегу Дона, возле мельницы Посохова, где проработал около месяца. Больше мне не нужно было, а затем поступил на механический завод англичанина Грагама, где тоже недолго проработал, причем мне удалось восстановить связь рабочих завода Грагама с заводом на Дону, а также и с железнодорожниками. В это время мне захотелось увидеть Жучковского, так как обстоятельства этому благоприятствовали и я узнал, что можно проникнуть в тюрьму на свидание под видом родственника. Я упросил жену Жучковского, чтобы она, идя на свидание, взяла-бы и меня, как приехавшего племянника. В назначенный день мы пошли в тюрьму, где в воротах свободно пропустили, но в то отделение, где находился Жучковский, меня не хотел впустить тюремный страж,

ссылаясь на то, что в разрешении на свидание ничего не сказано про племянника. Пришлось мне дать ему известную мзду в виде рублевки и тогда двери открылись. Жена Жучковского, поговорив с ним некоторое время, ушла, а я остался и долго ходил с ним по корридору и разговаривал, причем спрашивал о причине арестов. Жучковский мне сказал, что это явление неизбежно при широкой пропаганде, от него никак не убережешься и что только при политической свободе будет возможно широко влиять на массу, вести пропаганду и организацию рабочего класса. Такую-же мысль впоследствии проводил и Желябов в Харькове о необходимости политической свободы.

При этом свидании я обратил внимание на некоторую ненормальность Жучковского,—он все боялся других заключенных, прогуливавшихся в это время по корридору; в каждом ему казался шпион, который за ним следит. В следующее свидание недели через две, когда я к нему пришел с его женой, уже не было никакого сомнения, что он душевно больной.

Вскоре я поехал в Таганрог, где поступил в пароходную мастерскую отделения завода Грагам; там проработал около двух недель и познакомился с нужными мне рабочими, фамилии которых не помню. Им я дал ростовские адреса и просил их приезжать почаще в Ростов, где они могут получать литературу и иметь прочную связь с ростовцами. По возвращении в Ростов, не помню, кто мне сообщил, что меня просят приехать в Харьков по очень серьезному делу и дали адрес Ионыча (Глушков), впоследствии эмигрировавшего в Париж. Ионыч мне сказал, как только я явился к нему, что есть люди, которые знают меня хорошо по моей деятельности, знают, что я сочувствую террору, причем упомянул про Одессу и мою инициативу о создании боевой дружины, о чем слышал лично от погибших в Киеве братьев Ивичевых, и что если я желаю работать в этом направлении, то что-бы ехал в Киев, если-же нет, то желательно, чтобы я остался в Харькове. Я выразил свое согласие, а Ионыч дал денег на дорогу и адрес в Киев, не помню к кому, но по этому адресу, через день или два по приезде, я встретил „Кота Мурлыку" (Колодкевич), с которым я и раньше встречался в Киеве. Он мне подробно сообщил, что в настоящее время нужно изготовить как можно больше разрывных бомб, небольших по размерам, но сильных по действию, которые предназначаются, частью, для Киева, для убийства генерал-губернатора Черткова или Дрентельна, хорошо не помню, а остальные будут разосланы по разным городам. Для означенного предприятия мне нужно устроить мастерскую с необходимым оборудованием, а для того, чтобы я знал, какой тип бомб желателен, то для ознакомления с этим он вручил мне небольшую книгу заграничного издания с чертежами различных бомб по системе графа Орсини, которые он изготовил для убийства Наполеона III в Париже.

Через несколько дней я подыскал уединенный домик на Подоле, в местности Боричев, примыкавший почти вплотную к обрыву горы Андреевского спуска. Домик был нанят иа имя моего помощника по мастерской, человека солидного, высокого роста, с большой черной бородой, так как я был для этого слишком молод. Не помню его фамилии и имени, но впоследствии из революционной литературы я узнал, что это был Гобст, бывший унтер-офицер войск Одесского военного округа, где он вел усиленную пропаганду в войсках и после ареста бежал из-под стражи. В квартире этого дома я устроил мастерскую, купив переносный кузнечный горн и весь инструмент и материал, и быстро приступил к отливке бомб, состоявших из трех разных сплавов, указанных в руководстве, причем я несколько изменил Орсиниевскую конструкцию и сделал их более безопасными и практичными. Второй домик для конспиративной квартиры, куда должны были мной и Гобстом относиться готовые бомбы, был нанят в еще более глухом месте, тоже на Подоле, кажется в Афанасьевском Яру, но точно сказать не могу, помню, что это был Яр, но может-быть, и не Афанасьев.

Для скорейшей просушки форм для отливки бомб я выносил их во дворик дома, защищенный от глаз посторонних, и ставил их возле стены на солнце, вполне полагаясь, что их никто не видит, но, как выяснилось для меня впо-

следствии от самого Судейкина, он в это время наблюдал за домом с высоты колокольни Андреевского собора и видел в бинокль какие-то непонятные для него предметы. Причиной этого наблюдения было то обстоятельство, что за несколько дней до этого к нам в мастерскую был привезен громадный сундук, наполненный пироксилином и динамитом. Сундук был взят из подозрительной квартиры, за которой уже наблюдали, и легко проследили, куда его повезли, таким путем обнаружили и нашу мастерскую. Кто сделал такое опрометчивое и непрактичное распоряжение, я не знаю, но слышал, что в это время „Кот Мурлыка" куда-то отлучился из Киева, и это сделали люди неопытные и трусливые. В один из этих дней к нам в мастерскую явился местный околодочный надзиратель под предлогом проверки паспортов, причем внимательно осматривал все расположение квартиры, обратил внимание в мастерской на отлитые бомбы и спросил, что это такое, я ему об'яснил, что это шары для гимнастики, к которым будут приделаны особые ручки и он, как-бы удовлетворившись своим осмотром, пошел к выходу, но затем вернулся от дверей и сказал мне, что он забыл посмотреть, что находится в большом сундуке, и просил меня открыть его. В это время Гобст лежал на кровати с больной ногой в гипсовой повязке и не мог двигаться от сильной боли. Я сказал околодочному, чтобы он обратился за ключами к хозяину, у которого они находятся. Гобст не хотел дать ключи околодочному и заспорил с ним, говоря, что он не имеет права делать обыск; околодочный рассвирепел и позвал городового, который его сопровождал, и приказал ему позвать дворников с ломами и топором, чтобы сломать сундук. Тогда я вмешался, зная, что от ударов при поломке сундука может произойти взрыв, который разнесет все окружающие домишки, тесно застроенные, в которых ютилась беднота, и предложил околодочному сделать отмычку, которой и открою французский замок сундука. Он на это согласился и я стал делать отмычку с целью выиграть время и обдумать, что мне делать, застрелить-ли околодочного и наделать шуму, чтобы никто не пришел в нашу квартиру из революционеров, или незаметно, тихо ускользнуть из квартиры и предупредить всех.

Околодочный сначала смотрел за мной, а потом, видя мое спокойствие, перестал наблюдать. Когда я пошел, он не последовал за мной, чем я и воспользовался; открыв окно, выходящее к обрыву, я вылез из мастерской, окно закрыл за собой и быстро по тропинке взбежал на гору Андреевского спуска, откуда глухими улицами добрался до знакомой квартиры, где и предупредил о провале мастерской, просив, чтобы немедленно об этом предупредили всех, и чтобы убирались и бросили подозрительные квартиры, за которыми, как замечено было—уже следили.

Благодаря этому счастливому событию, все подозрительные для полиции квартиры были внезапно брошены и все скрылись, а в нашей мастерской остался только один несчастный Гобст, который не мог двигаться, иначе-бы он тоже ушел, да еще пришел в засаду один рабочий Красовский, который шел так задумавшись, что хотя ему и стучали в окно из одного дома, когда он проходил мимо, но он не обратил никакого внимания. Вскоре после этого военный суд приговорил Гобста, Антонова и др., фамилии которых не помню, к смертной казни, а Красовского на 20 лет каторги, хотя за ним не было решительно ничего преступного кроме того, что он попался в западню на нашей квартире, а меня полиция стала усиленно разыскивать.

Все мне советовали немедленно уезжать из Киева, где из-за меня делались облавы целых частей города, охватывая его постепенно со всех сторон и приближаясь к центру города, но мне не хотелось уезжать, не повидавшись с „Котом Мурлыкой", который все еще был в отсутствии. Меня переводили на ночь из одной квартиры в другую, по мере того, как подвигалась облава и все-таки в одной местности я наскочил или, вернее, облава на меня наскочила в одной большой квартире, где я ночевал. Я успел быстро одеться и пока проверяли паспорта у других жильцов, успел сказать хозяину квартиры, чтобы он сказал полиции, так как это было уже утро, что я пришел за починкой замков в его квартире. Пока я отвертывал замок из двери, хозяин успел принести из

кухни несколько штук кухонной посуды для починки, так что, когда дошла очередь до нашей комнаты, я уже успел переговорить и с молодыми людьми, у которых ночевал, и предупредил их, чтобы они говорили, что меня не знают и я пришел к хозяину. Паспорт мне все-таки пришлось пред'явить, но он был в порядке и даже прописан в каком-то участке. Этот паспорт я за несколько дней перед этим получил, не помню от кого, да и вообще я никого не знал из этих людей, которые меня скрывали. Единственно, что мне, при проверке паспорта, один из полицейских сделал замечание,—это, что я сижу в фуражке, как будто она у меня гвоздем прибита к голове. Полиция под утро была сильно утомлена и очень торопилась.

Через несколько дней после этого приехал „Кот Мурлыка", которому я все подробно об'яснил, причем высказал свою уверенность, что приход околодочного был вызван не с целью произвести обыск в мастерской, а только как-бы для предварительного осмотра и изучения квартиры, и что, несомненно, подозрение пало из-за привоза такого громадного сундука из подозрительной квартиры. Он согласился с моим мнением, сильно жалел о гибели людей и всего задуманного предприятия и говорил, что если-бы он не уезжал из Киева, то не произошло-бы такого несчастья, и, в свою очередь, посоветовал мне немедленно уезжать из Киева в Полтаву, где мне тоже предстоит серьезная работа, подробности о которой он сообщит мне через Жебунева.

XI.

Изготовление оружия.

Жебунев и Гвоздев.—Ильин.—Вооруженное восстание.—Фомин и Войнаральский.—Ионыч и Витютнев.—Освобождение Фомина.

1879.

Все эти события произошли в очень короткое время, в каких-нибудь полтора месяца, и к осени 1878 г. я был уже в Полтаве, где и посетил Жебунева на его квартире. Жебунев и Гвоздев судились по большому процессу 193-х, и хотя были оправданы судом, но административно были высланы в Полтаву под надзор полиции. Посещать мне его на его барской квартире было очень неудобно хотя-бы и вечером, несмотря на его уверения, что бояться полтавской полиции не следует, так как в то время полицмейстером там был Стеблин-Каменский, сын которого, довольно известный революционер, находился в ссылке в Сибири, и старик относился к политическим ссыльным довольно благодушно, а, на него глядя, и подчиненная ему полиция не смела притеснять ссыльных. Но все это меня не успокаивало, слишком уж много я пережил всяких передряг, чтобы поддаться такому благодушному настроению, и я перестал посещать квартиру Жебунева, а посещал только Гвоздева, который жил в иных условиях.

В первый же свой приход к Гвоздеву я встретил у него рабочего Костю, фамилию хорошо не помню, знакомого мне по Одессе, члена кружка Заславского, который во время погрома кружка должен был скрыться. Костя, увидев меня, страшно обрадовался, повел на свою половину дома, где и познакомил со своими товарищами рабочих мастерских Полтавской ж. д., отрекомендовав меня с самой лучшей стороны, как ближайшего сотрудника погибшего Заславского. Гвоздев жил во второй половине дома в семействе одного-революционера, рабочего Гавриленко, у которого и столовался, почему мне и было удобно с ним видеться во всякое время, приходя к Косте, а Гвоздев также мог всегда спокойно ходить к Жебуневу днем и вечером, как к своему товарищу ссыльному. Костя не сидел в Полтаве сложа руки, а работал в мастерских жел. дор., занимался

довольно успешно пропагандой среди рабочих, с которыми меня и познакомил, сам же поспешно уехал в Одессу, говоря, что он сильно стосковался по оставшимся там своим товарищам. Таким путем, я неожиданно получил хорошее наследство, которое мне вскоре и пригодилось.

В это время Гвоздев мне сообщил, что из Киева кто-то приезжал к Жебуневу, которому подробно изложил, какая работа требуется от меня в Полтаве, а именно, нужно организовать большую мастерскую для выделки и изготовления холодного оружия—пик и кинжалов в массовом размере, и просил меня сообщить, возможно-ли это устроить. Дело это было очень серьезное, представлявшее большие практические затруднения, и я сказал Гвоздеву, что ответить на это сразу не могу, а обдумаю все и посоветуюсь со своими новыми товарищами из более солидных и серьезных, на мой взгляд, людей, да еще к тому-же хороших кузнецов и слесарей, и тогда сообщу ему об этом. Долго я советовался со своими товарищами, прошло время—недели две, а мы договорились только до того, что в большом размере устроить это дело невозможно, т. е. мастерскую-то можно устроить, но ее ждет неизбежный провал; все мы люди практические и хорошо понимаем, как можно уберечь частную мастерскую от посещения посторонних лиц во время работы, да еще массовой, где каждый пришедший может увидеть, как сразу несколько человек делают пики и кинжалы. Другое дело, если-бы было возможно производить эту работу в железнодорожных мастерских и в ночное время, как тогда это практиковалось, куда нет доступа посторонним ни днем, ни, в особенности, ночью.

Я стал спрашивать кузнеца Василия и других рабочих, работавших по ночам, что нельзя-ли попробовать отковать несколько кинжалов и пик в ночное время, на что они согласились, только сказали, что им нужно остерегаться Ильина, начальника мастерских, который иногда обходит мастерские. Фамилия эта меня заинтересовала, я начал подробно расспрашивать про Ильина, что не тот-ли это Ильин, инженер-технолог, который работал в мастерских Поти-Тифлисской ж. д. на станции Михайлово, и с которым я был в самых хороших отношениях. Для того, чтобы убедиться в этом я в обеденное время пошел к мастерской, где встретил своего запьянцовского названного дядюшку Ильина, который очень обрадовался, что видит меня—своего племянника, и пригласил к себе обедать. Ильин сильно изменился с тех пор, как я его не видел; бросил пьянствовать, женился, жил в комфортабельной обстановке. Я спросил его, нельзя-ли в мастерской отковать несколько штук кинжалов и пик, как бы для пробы, а дальнейшее будет видно. Ильин мне ответил, что ему очень нежелательно идти на каторгу, положительно нет никакого интереса, но все-таки, в конце как-бы шутливого разговора, он согласился на это, и я ему указал, кого из рабочих он должен определить на эту работу, чему он был удивлен, что я знаю его рабочих лучше, чем он сам, и что он в этом видел главное препятствие. Вскоре я получил изготовленное оружие и через Гвоздева отправил к Жебуневу, причем об'яснил Гвоздеву, что есть надежда на продолжение работ, для чего нужны деньги, чтобы платить рабочим, так как в это время рабочие не исполняют казенную работу, а жить-то им нужно. Гвоздев принес мне деньги, которые выдал мне Жебунев из собственных средств, с просьбой продолжать работу.

Вскоре кто-то приехал из Киева с таким предложением, что нужно изготовить несколько штук кинжалов особого типа, очень прочных, бронебойных, чтобы сильным ударом можно было пробить кольчугу и кинжал бы не сломался и не погнулся. Кинжалы эти должны быть скоро изготовлены, чтобы приезжий человек, при обратном проезде из Харькова, куда он поехал, мог-бы захватить их с собой и отвезти в Киев. Я передал это желание Ильину, который сказал мне, что дело этим осложняется, что для этого требуется известный сорт стали, который может и не найтись в кладовых дороги, также требуется и особая закалка, вообще, дело сложное и нужно предварительно самому ему произвести испытание; затем он мне пояснил, что изготовленные им кинжалы при таком техническом требовании должны равняться знаменитым испанским толед-

ским клинкам, на что он не расчитывает, но все-таки он попробует, может быть и удастся до некоторой степени.

Недели через полторы или две Ильин вручил мне три или четыре, хорошо не помню, изготовленных кинжала и сказал, что вот все, что вышло из 10 или 12 шт. откованных, а остальные при пробе на удары и изгиб оказались негодным браком, но он надеется, что в будущем, если придется изготовлять такие кинжалы, браку будет меньше, так как он преподал своим молодцам научный способ ковки таких изделий. Я передал кинжалы Гвоздеву, тот Жебуневу, который передал их приезжему из Киева, откуда вскоре получилось извещение, что кинжалы хороши и желательно их сделать в неограниченном количестве, чем больше, тем лучше. Оружие это, как я слышал, предполагалось раздать,— пики крестьянам для предполагавшегося тогда восстания крестьян, кинжалы рабочим, бронебойные кинжалы членам боевой дружины и, вообще, террористам. Кто приезжал за этим оружием, я не знаю, слышал, что один раз приезжал в Полтаву „Кот Мурлыка", но я его не видел, так как в это время уезжал на несколько дней в Харьков. Жебунев тоже не знал, кто изготовляет оружие, хотя я его и хотел познакомить с Ильиным на тот случай, если я буду арестован в Полтаве или Харькове, куда мне часто приходилось ездить, чтобы не потерять связи с Ильиным, но Ильин не пожелал ни с кем знакомиться и говорил мне, что это его последнее выступление и что он только со мной хочет иметь дело.

Жебунев и Гвоздев, как я хорошо знал, не были в то время членами партии Народной Воли и не занимались пропагандой, а просто отдыхали после 4-х летнего одиночного заключения в ДПЗ. Это были люди надежные, хотя довольно мирно настроенные и не сочувствовавшие вооруженному выступлению крестьян и рабочих, которое тогда предполагалось произвести „бунтарями", а не Народовольцами. Мои частые поездки в Харьков были вызваны происходившими там событиями, о которых я упомяну в самых кратких словах, потому что эти события известны по другим источникам и мне не нужно их повторять.

Как известно, осужденный по процессу 193-х Войнаральский, неудачно бежавший из ДПЗ, перевозился из Харькова в центральную, кажется, в Белгородскую тюрьму. При перевозке по шоссейной дороге, отбить его вооруженной силой не удалось, причем один из участников, Фомин, сам был арестован в Харькове и посажен в тюрьму. Для освобождения Фомина производился подкоп в тюрьму из одного дома через всю большую тогда площадь. Руководил этим сложным подкопом инженер Сашка (Сентянин, умерший в Петропавловской крепости), с которым я только один раз виделся в Ростове во время купанья на Дону, когда он тонул. В это время Фомин сам вел подкоп из тюрьмы при помощи уголовных арестантов, который быстро закончил и вышел вместе с уголовными на свободу, но, не зная никого в Харькове (сношения-же с тюрьмой были прерваны), был снова арестован в близ лежащем лесу. Тогда была предпринята вторая попытка освободить Фомина двумя революционерами, переодетыми жандармами, с предписанием от начальника жандармского управления доставить его на допрос. Как известно эта попытка тоже не удалась, причем и сами „жандармы" революционеры были арестованы.

Тогда была задумана третья попытка, в которой и я должен был принять участие. Решено было отбить Фомина силой, бросившись толпой на карету и конвой, сопровождавший Фомина по дороге из тюрьмы в военный суд, причем потеря в людях—четыре или пять человек—не должна была нас останавливать, лишь-бы только отбить Фомина. Для того, чтобы это дело устроить с успехом, требовалось предусмотреть все мелочи, от которых зависит успех дела, например, если-бы была предусмотрена такая мелочь при освобождении Войнаральского, что при выстрелах лошади могут испугаться и понести, что и случилось, тогда несомненно Войнаральский был-бы отбит и освобожден. Кем была задумана эта отчаянная попытка, мне было неизвестно, я знал только Ионыча, который не был руководителем, а только посредником между разными лицами и группами, к которому все и обращались. Ионыч познакомил меня со многими интеллигентными людьми, серьезными

революционерами, как Телладов, студенты Университета Филиппов и Кашинцев и др., фамилии которых не помню. Кашинцев впоследствии эмигрировал заграницу и сотрудничал в революционных журналах. Также познакомил меня с рабочим Николаем, фамилию забыл, у которого я ночевал, а впоследствии и жил вместе. Через Николая я познакомился с рабочими Харьковских железнодорожных мастерских, из среды которых мне нужно было выбрать более надежных кузнецов и слесарей для того, чтобы перетащить их в Полтаву для изготовления оружия, так как Ильин мне говорил, что для успешной работы нужно увеличить рабочую силу.

Из Харькова я ездил в г. Чугуев, где в то время находился Витютнев, казачий офицер, бывший студент Медико-Хирургической Академии в Петербурге, который пропагандировал в то время, когда я проживал за Невской заставой в 1873 и 1874 г.г. Витютнев встретил меня очень радушно, обрадовался встрече со мной и говорил, что, значит, его труды по развитию рабочей молодежи не пропали даром и из меня, как он слышал от Ионыча, выработался порядочный революционер, так-же, как и из Потапова, который поднял красное знамя во время демонстрации на Казанской площади, и других молодых рабочих, которых он развивал. Витютнев рассказал мне, что он был арестован тогда в Петербурге по обвинению в пропаганде среди рабочих, но счастливо отделался, просидев полтора года в Петропавловской крепости, а затем его выслали на родину на Дон. Никто из рабочей молодежи его не провалил, все они показывали, что он их только учил разным предметам и, вообще, развивал. На родине его, как казака, взяли на военную службу, затем отправили на войну и теперь он командир сотни казаков. Я просил его, не может-ли он оказать содействие в освобождении Фомина, на что он ответил, что слышал об этом от Ионыча и находит это предприятие совершенно безумным и даже удивляется легкомыслию тех людей, которые задумали такое фантастическое дело, что немыслимо отбить арестованного от казаков, окружающих карету и быстро скачущих, и что нападающая сторона, ведь, будет пешая, которую казаки быстро изрубят шашками, а карета поедет дальше и, наконец, если-бы даже и удалось задержать карету, так не нужно забывать, что в карете с арестованным будут жандармы, которые, согласно инструкции, всегда успеют в последний критический момент застрелить арестованного.

Вообще, Витютнев старался меня отговорить от этого дела и даже упрекнул, что неужели мне не жаль своих товарищей-рабочих, которых я поведу на верную гибель, на что, как мне помнится, я ответил ему, что не я организатор этого дела и что все участники идут добровольно, также, как и я, и не считают возможным отказываться от опасного предприятия.

Вечером Витютнев пригласил к себе трех или четырех своих товарищей-офицеров из более надежных, с которыми меня и познакомил. Товарищи Витютнева тоже были против вооруженного нападения на конвой, причем один из них сказал, что не следует озлоблять казаков против рабочих и интеллигентов, что пролитая кровь, хотя бы одного казака, надолго ожесточит сердца казаков за погибшего товарища. На другой день я уехал в Харьков, куда обещал приехать и Витютнев, где я его через несколько дней встретил в квартире Ионыча, которого он достаточно поколебал в успехе задуманного предприятия, также как и других революционеров, на которых он сильно повлиял. Вскоре выяснилось, что Фомина необычайно охраняют и повезут на суд под усиленным конвоем, почему о предположенном нападении не может быть и разговора.

По возвращении в Полтаву, я стал подумывать о том, что мне необходимо поступить куда-либо работать, чтобы не пропадало даром мое время, но только не на железную дорогу, куда я из осторожности старался не показываться и никакой пропаганды там не заводил.

Выработка оружия довольно хорошо наладилась, и если были остановки, так это из-за недостатка известного сорта стали или временного прекращения ночных работ, что не от Ильина зависело. Я за все время не более двух раз был в мастерских в ночное время и

то только по настоянию Ильина, который хотел показать мне устроенное им приспособление для штамповки и отделки пик, что значительно ускоряло и удешевляло производство.

Относительно же удешевления производства, так оно и так было не дорого, потому что не потребовалось порядочных денег на оборудование мастерской, не нужно было нести никаких расходов на покупку стали, угля и инструментов по обработке,—все это было казенное. Единственным досадным препятствием было то обстоятельство, что нельзя было вести работу планомерно. Все зависело от случая.

XII.

Полтава—Харьков.

На заводе либералки Милорадович.—Встреча с Штольцем.—Неприятность с полицией.—В Полтаве.—Подготовка к экспроприации.—В Харькове. — Ионыч и Заславский. — Сабуровская дача. — Встреча с С. Перовской.

1878.

Вскоре я поступил на маленький завод земледельческих орудий генеральши Милорадович, находившийся во второй деревне, верстах в 5-ти от Полтавы. Завод был довольно хорошо оборудован, имелись литейная, кузнечная, слесарная, токарная и столярная мастерские. Милорадович была либералка и устроила завод с целью дать возможность крестьянам приобретать усовершенствованные земледельческие орудия по дешевой цене и в рассрочку, а самое главное значение завода состояло в том, чтобы крестьянская молодежь могла научиться разным ремеслам и обращению с более сложными земледельческими орудиями. Вместе с этим, молодежь получала и низшее техническое образование.

Как мне говорили в Полтаве, Милорадович хотела сначала открыть в городе ремесленное училище, но правительство ей этого не разрешило. Поэтому она, в обход запрещения, открыла завод, а для завода на законном основании можно иметь учеников. Для того, чтобы из учеников вышли хорошие мастеровые, нужно дать им некоторое техническое образование, и в результате получилось почти то же ремесленное училище, только замаскированное заводом.

Образцы земледельческих машин и орудий выписывались из Америки, и по этим образцам завод и работал. Изделия завода обходились почти в два раза дороже против продажных и завод приносил хозяйке большой убыток, но это, очевидно, ее не смущало или ей это втолковали люди, лучше ее понимавшие, что иначе и не могло быть, так как немыслимо маленькому заводу конкурировать с громадными американскими заводами; но дело не в этом, завод существовал и исполнял свое назначение. Крестьянская молодежь охотно шла на завод и хорошо училась. Лентяев, лодырей положительно не было, все ученики были довольно взрослые от 15 лет, причем каждый из них выбирал себе то мастерство, которое ему больше нравилось, но с обязательством знакомиться практически со всеми земледельческими орудиями и проходить полный курс книжного обучения. Ученики получали от 20 к. до 60 к. в день за работу на практических занятиях, рабочий день которых продолжался четыре часа на заводе и четыре часа в классах; все остальные рабочие работали 9 час. в день и получали в среднем 30 р. в месяц. Жизнь в деревне была очень дешева: так, я платил самую дорогую цену крестьянину хохлу, у которого жил, 6 р. в месяц за все, считая квартиру, завтрак, обед, ужин и стирку белья. Кормил он меня очень хорошо, потому что ему было выгодно получать шесть карбованцев.

Рабочие дорожили местом на заводе

и были довольны такой заработной платой, поэтому я не мог вести агитацию за повышение платы и сокращение рабочего дня, так как каждый рабочий знал, что завод работает в убыток. На второй или на третий день после того, как я поступил на завод в качестве слесаря, у меня произошла удивительная встреча. В то время, как я, нагнувшись собирал на полу плуг, вдруг кто-то говорит мне: „Ванюшка Окладский!“ Я невольно вздрогнул и стал пристально смотреть на того человека, кто назвал меня настоящей фамилией, от которой я уже отвык за несколько лет. К моему удивлению и досаде, я узнал в этой улыбающейся роже своего врага, немца Штольца, и подумал,—значит нужно удирать с завода, пока цел, и досадно мне было, что я так мало изменился за эти годы и меня сразу можно узнать.

Штольц знал меня в Петербурге в то время, когда я был учеником корабельной мастерской на заводе Семянникова, а он был заведывающим чертежным техническим отделом. В это время он был надменный гордый немчура, зло и жестоко относившийся к ученикам и раздававший им затрещины, которые и мне попадали. За это я его ненавидел, а он меня больше всех преследовал. На мое удивление, что я вижу его в рабочем костюме, его, такого барина, всегда изыскано одетого и враждебно относившегося к рабочим, Штольц мне ответил, что теперь он занимается революционной пропагандой и просил меня придти вечером к нему на квартиру, где подробно переговорим. Я сказал ему, чтобы он не называл меня моей собственной фамилией, а той, под которой я тогда проживал; не помню, какую я ему назвал тогда фамилию. Вечером я был у Штольца, который познакомил меня с своей женой. Это была русская интеллигентная женщина, довольно энергичная, которая забрала Штольца в руки и заставила его заниматься пропагандой и бросить свою привиллегированную службу. Жена Штольца вела знакомство с крестьянскими женщинами и девушками и занималась медицинской практикой, как бывшая курсистка каких-то заграничных курсов.

Благодаря тому, что Штольц занимал отдельную просторную хату, я приводил к нему по вечерам намеченных мною рабочих и старших учеников, которым читал разные революционные книги и раз'яснял прочитанное, в чем помогала мне жена Штольца. Сам Штольц был плохой пропагандист и плохой слесарь, довольно ленивый, за что рабочие его недолюбливали, к тому-же он плохо говорил по-русски.

Так работал я на заводе довольно продолжительное время, весь конец зимы 1878 г. и начало 1879 г., вплоть до весны, причем я часто ходил в Полтаву. Под каждый праздник обязательно уходил и ночевал у товарищей рабочих; ездил и в Харьков на день на два, где посещал Ионыча и других знакомых, а также и товарищей-рабочих. Впоследствии я брал с собой в Полтаву новых своих распропагандированных товарищей Григорьева и других, которых познакомил с рабочим Гавриленко, пламенным революционером, очень увлекавшимся и высоко развитым, который был женат на интеллигентной женщине, занимавшейся с рабочими по их развитию.

Весной 1879 г., точно не помню в каком месяце, пришлось мне неожиданно оставить завод по следующей причине: управляющий заводом начал злоупотреблять своей властью над учениками, заставляя их исполнять разные черные работы, не относящиеся к ним, и в ущерб их ученью, да и к рабочим стал придираться, ввел штрафы и разные вычеты, против чего следовало протестовать всем рабочим, как это всегда и практиковалось на других заводах, но здесь я считал этот способ неудобным, с чем согласился и Жебунев с компанией интеллигентов. С общего согласия я решил пойти к Милорадович и лично ей об'яснить о злоупотреблениях управляющего и, таким путем, цель будет достигнута, а внимание полиции не будет привлечено на завод, который нужно было оберегать. Милорадович выслушала меня и потребовала управляющего для об'яснений. Перед ним я повторил свое обвинение и он не мог оправдаться; после этого она его тотчас-же уволила. Управляющий из мести сделал донос о том, что в квартире Штольца я веду противо-правительственную пропаганду и читаю по вечерам запрещенные книги. Об этом доносе первая узнала Милорадович, которую

предупредил полицмейстер Стеблин-Каменский. — Милорадович сообщила об этом Жебуневу, а тот через Гвоздева мне. Узнав об этом, я забрал свои пожитки из квартиры и пошел в Полтаву, предупредив Штольца, чтобы и он убирался, но он не захотел этого сделать и сказал мне, что не боится, так как он германский подданный, с которым власти должны будут считаться. После этого Штольц был арестован, а жена его, после ареста мужа, скрылась в Полтаву, где нашла приют среди местной интеллигенции.

В это время выделка оружия прекращалась, отделывали только то, что уже было раньше откована. Причины прекращения дальнейшего производства оружия я не знаю, думаю, что миновала надобность, а может быть, и недостаток денежных средств, потому что, когда я через несколько дней после ухода с завода поехал в Харьков, то мне Ионыч говорил, что нужно подумать о том, чтобы пополнить денежные запасы партии путем экспроприации какого-либо казначейства, как это было произведено в Херсоне, и советовал мне подумать о Полтавском казначействе.

Возвратившись в Полтаву, я в первую очередь считал необходимым сплотить отдельных рабочих в один общий кружок, так как по прекращении выделки оружия можно было заняться в мастерских железной дороги пропагандой и организацией. Затем мне нужно было возвратить хотя-бы часть тех рабочих, которые были взяты из Харьковских мастерских в помощь Ильину.

По словам Ионыча, в Харькове среди рабочих дело пропаганды плохо обстояло, потому что лучших я забрал в Полтаву, а Николай за это время ничего не мог создать порядочного, почему мне некоторое время пришлось попеременно жить в Полтаве и Харькове, куда я ездил два или три раза в неделю.

В Полтаве во главе кружка стал Гавриленко с женой, как самые подходящие люди для этого дела, а я занялся подысканием людей для обработки казначейства и вскоре нашел таких, причем я не хотел брать участников из среды рабочих.

Это было-бы неудобно по разным причинам. Я привлек к этому делу нескольких человек из местной интеллигенции и одного отважного офицера Марковича или Мирковича, хорошо не помню, который только что возвратился с Турецкой войны, где оказал чудеса храбрости и хладнокровия, о чем в Полтаве было много разговоров. Предложив этим людям разработать подробности экспроприации казначейства, в котором и я-бы принял участие, когда придет время, я уехал в Харьков, куда меня настойчиво приглашали, да к тому-же в Полтаве мне и не было особенной надобности оставаться. В Харькове я поступил работать на завод шведа Пильстрема, в конце Конторской улицы, вблизи вокзала, что для меня было удобно в виду близости железнодорожных мастерских. Я нанял большую комнату вблизи завода на углу Конторской и Бульварной, куда приглашал рабочих по вечерам приходить ко мне, в эту-же комнату приходил и Аксюк, член партии, с которым я познакомился у Ионыча.

Аксюк, бывший студент, не знаю какого университета, был человек очень осторожный и даже трусливый. Всего-то он боялся, все ему мерещились шпионы, которые за ним следят, чего в действительности не было, но как лектор он был прекрасный, читал рабочим Карла Маркса (Капитал) и раз'яснял очень толково закон о прибавочной стоимости и проч. Проживал он под своей фамилией и, как я слышал от Ионыча, особым значением в партии не пользовался. Недолго я проработал на заводе, приблизительно месяц с небольшим, и, насколько я помню, в июне 1879 г. перешел работать в маленькую мастерскую профессора Сыцянко, которая помещалась в его собственном доме на Немецкой ул., ныне Пушкинская, где работал по изобретениям Сыцянко и в области электро-медицины, делая разные части к приборам, которые он сам собирал и испытывал.

Перешел я к нему для того, чтобы иметь больше свободного времени, так как у него работа продолжалась только 6 часов в день, работа чистая, легкая, которую я и за работу-то не считал, почему мог бегать по всему городу и успевал побывать иной день на двух или трех собраниях, преимущественно, среди интеллигенции. Более крупные собрания

происходили в большой квартире Ионыча и в местности, называемой Сабурова дача, не далеко от города, где проживала летом учащаяся молодежь. Общие собрания происходили на фундаментах строящегося тогда Технологического Института, который в то время отделялся чистым полем от города, а ныне находится в городе. Местность эта была очень удобна, благодаря своим оврагам, ямам и крутому спуску к реке.

Квартиру Ионыча посещали более серьезные революционеры для своих собраний, так как она считалась очень надежной, и сам Ионыч считался на хорошем счету у полиции, как человек благонамеренный и любящий широко и весело пожить, почему и устраивает частые вечера с выпивкой и закусками. Собирались также и у Заславской, которая перед этим приехала из Одессы и открыла большую столовую, где обедала вся радикальная молодежь, а серьезные революционеры приходили для разных свиданий и переговоров. Вообще, в это время, перед приездом в Харьков Желябова, революционная деятельность была очень оживленной, но не было одной общей организации с определенно выработанной программой, как среди интеллигенции, так и среди рабочих.

Проживал я в это время, после ухода с завода, в центре города в одной комнате с рабочим Николаем и Владимиром Осинским, братом казненного в Киеве, что было большой неосторожностью с моей стороны, так как Осинский жил под своей фамилией и полиция знала о его неблагонадежности. Это доказывает что я быстро распустился и забыл думать о всякой конспирации среди общей распущенности молодежи, которая и подавно не заботилась об осторожности. Так продолжалось до несчастного случая, когда Николай нечаянно застрелился при починке заряженного револьвера и его пришлось отправить в больницу, где он и умер на второй или третий день. Полиция стала допрашивать меня и Осинского, как это произошло. После этого я переехал на другую квартиру и жил один, занимая большую комнату в деревянном доме на Старо-Московской ул., угол Набережной, ныне там каменный дом, бывшая гимназия. Живя в этой квартире, я значительно удалился от вокзала и мастерских, что было неудобно для посещавших меня рабочих, но зато мне было ближе к Сабуровой даче, куда меня неудержимо тянуло каждый вечер. Там происходили собрания и читались серьезные книги, туда я ходил с целью саморазвития, к чему я жадно стремился. Эту квартиру посещали и интеллигенты, заходя по пути, идя на Сабурову дачу, и иногда встречали у меня рабочих, с которыми я их знакомил, также заходили и солдатики, с которыми мне, не помню как, удалось познакомиться. Помню двух писарей из какого-то штаба, которые были по специальности граверы, резчики по металлу, и очень искусные. Я заказывал им по оттискам различные правительственные печати, но какие, не помню. Оттиски на бумаге я получал от Ионыча, ему-же передавал и печати, исполненные на меди, которые я предварительно обтачивал.

Вскоре я познакомил этих граверов с Ионычем, приведя их к нему на квартиру, а он пригласил их приходить к нему и на собрания, так они ему понравились и внушили к себе такое доверие. Во время одного собрания у Ионыча, кто-то, не помню кто, познакомил меня с одной из бывших там барышен — Соничкой (Перовской), которая просила меня заходить к ней на квартиру и сообщила свой адрес. При этом я помню, что спросил ее, удобно-ли будет мне, рабочему, приходить к барышне, на что она ответила, что у них вся квартира своя, почему можно свободно приходить. Заходил я к ней раза три, не больше, причем она очень интересовалась рабочими и просила меня познакомить ее с кем-либо из рабочих. Я дал ей свой адрес и пригласил придти в один из вечеров, когда у меня будут рабочие, где она сразу увидит несколько человек. Она приходила, но собрание у меня почему-то не состоялось, а сам я ушел на Сабурову дачу.

У Ионыча познакомился я с Даниловым, который в то время служил провизором в какой-то аптеке, имел большое знакомство среди учащейся молодежи, вел успешную пропаганду и организовал кружок фармацевтов и еще какие-то кружки, но как человек очень скромный, старался не выдвигаться на вид и только Ионыч меня просветил относи-

тельно этого скромного труженика, глубоко преданного революционному делу и имевшего большое влияние на молодежь. Впоследствии Данилов, после бегства из Сибири, печатал свои воспоминания в журнале „Былое“ за 1905 или 1907 г., где упоминает и про мое с ним знакомство в Харькове.

XIII.

Покушение на Александра II.

Желябов. — Выработка плана. — Гольденберг. — Изготовление снарядов. — Закладка мин. — Неудача. — Причина неудачи. — После покушения. — Профессор Сыцянко.

1879.

Приблизительно в конце августа или в начале сентября 1879 года Ионыч познакомил меня с одним приезжим революционером из Одессы, который назначил мне свидание вечером на Университетской горке, куда я и пришел. Приезжий, которого Ионыч назвал Тарасом или Борисом, хорошо не помню, сказал мне, что мы с ним старые знакомые по Одессе, но я не мог вспомнить, где я встречался с ним.

Желябов стал расспрашивать меня об общем положении революционного дела в Харькове и я все, что знал, рассказал ему, причем упомянул, что харьковские революционеры очень критически относятся к его деятельности в Одессе и считают его конституционалистом, чему многие удивляются. На это Желябов мне ответил, что все это скоро раз'яснится на собраниях, где он будет выступать со своей программой, а мне он предложил, не желаю-ли я принять участие в цареубийстве Александра II. Когда я из'явил свое согласие, то он мне сказал, что с этого момента я должен временно прекратить всякую свою революционную деятельность и даже, по возможности, не встречаться с товарищами, а относительно экспроприации полтавского казначейства он сказал мне, что в настоящий момент деньги имеются. Если-же местные революционеры считают это дело выполнимым, то пусть действуют, но без моего участия, о чем я должен их предупредить.

На другой-же день я отказался от работы в мастерской Сыцянко и поехал в Полтаву, где прожил несколько дней, виделся и переговорил со всеми товарищами и пригласил ехать со мной в Харьков офицера Мирковича, стоявшего во главе организации Гавриленко и одного рабочего, фамилию забыл, на которого указал мне инженер Ильин, как на особо выдающегося,—как представителей от Полтавы на имеющихся быть собраниях в Харькове. Выехал я вместе с ними, причем сообщил им адрес Ионыча, а сам вышел из поезда на одной из станций, помнится Покровка или Кочубеевка, и направился в близ лежащее имение помещика Поклонского, где летом проживали приезжие революционеры на короткое время, как бы в виде отдыха, которых тоже нужно было известить и пригласить в Харьков.

По возвращении в Харьков, я встретился с Желябовым там-же на Университетской горке вечером, где он постоянно назначал потом все свидания со мной. На этом свидании Желябов сообщил мне подробности выработанного им плана, где, именно, удобнее произвести взрыв императорского поезда, и что, по его мнению, самый удобный пункт, на котором он остановился—это большая насыпь через громадный овраг, который пересекает полотно железной дороги вблизи г. Александровска. Затем он мне пояснил, что первая моя задача будет заключаться в том, что я должен изготовить два разрывных снаряда, вместимостью каждый в два пуда полужидкого динамита, снарядить их и вести затем

всю дальнейшую техническую работу по прокладке и соединению проводов на предполагаемом месте. В заключение опять посоветовал мне быть, как можно осторожней, прекратить всякие знакомства, не бывать на собраниях и даже не разговаривать с ним.

Через несколько дней я нанял на Москалевке маленький деревянный дом, находившийся в глубине двора, огороженный со всех сторон высоким плотным забором, куда и переселился. Хозяину дома я сказал, что жду жену из деревни, а пока буду устраивать хозяйство и даже держать жильцов столовников рабочих, а сам буду работать у Пильстрема, так как эта квартира недалеко от завода.

Обезопасив себя с этой стороны, я приступил к изготовлению снарядов, которые, по моему расчету, должны были быть длиною приблизительно в $1^1/_2$ или два аршина, точно не помню, но не более 10-ти дюймов в диаметре, потому что земляной бур, который я приобрел, был 10 д.

Снаряды эти были медные, цилиндрические, герметически плотно изготовленные, чтобы не просачивался нитроглицерин, составляющий главную разрушительную силу в динамите. В помощь себе я пригласил одного рабочего с железной дороги, который и жил вместе со мной. Фамилии его не помню, а звали его Николаем; он был очень скромным и надежным человеком, и хотя я ему не об'яснял, куда пойдут эти снаряды, но он догадывался, и с своей стороны принимал все меры предосторожности, никуда из дома не выходил и, конечно, никого к себе не приглашал. Наш дом знал только один Желябов, который ни разу сам не был, но проходил мимо по улице, чтобы ознакомиться с местностью, и только впоследствии сообщил наш адрес Гольденбергу, тогда под кличкой Гришка.

Гольденберг был убийцей генерал-губернатора князя Кропоткина, почему и пользовался большим доверием, но был человек довольно неосторожный. Он один раз приходил в дом, чтобы узнать, скоро-ли будут изготовлены снаряды,— это было во время отсутствия Желябова из Харькова. На мелкие собрания я в это время не ходил из предосторожности, но бывал на тех собраниях в квартире Ионыча, где выступал Желябов, и один раз там-же видел одного революционера, приехавшего из заграницы; говорили, что это Лев Дейч, который выступал со своей программой.

Во время работы по изготовлению снарядов, помню, был такой случай, который тоже мог погубить все начатое дело. В то время, когда я на дворе выправлял и загибал медный цилиндр, причем раздавался сильный металлический звук, неожиданно в калитку у ворот вошел местный околодочный надзиратель, которого я сразу не заметил, а только тогда увидел, когда он стал на меня кричать и ругаться за то, что я произвожу такой звук, который беспокоит одного больного чиновника, который ему жаловался на это... Околодочный начал распрашивать меня, что это за цилиндр, который я делаю. Я ему рассказал, что это приборы и аппараты для перегонки спирта для винокуренного завода и показал ему крышки с фланцами для герметической закупорки прибора. Тогда он стал придираться к тому, почему я не заявил в участок об открытии мастерской и не взял свидетельства от Городской Управы. Мне пришлось об'яснять ему, что никакой мастерской у меня нет, что это случайная работа и что я буду вскоре работать на заводе Пильстрема. Для того, чтобы окончательно отделаться от него, так как он не уходил, а все чего-то выжидал, я сунул ему в руку трешницу и извинился, что мало даю, но зато, когда окончу работу и получу деньги, тогда я его лучше поблагодарю. После этого он немедленно ушел и не стал больше угрожать составлением протокола, а только посоветовал мне перебраться со двора в сарайчик, откуда мой стук не так будет слышен.

Все это я говорю потому, чтобы пояснить, что в разных революционных предприятиях, как-бы хорошо они не были обдуманы, почти всегда бывают разные непредвиденные случайности и промахи, которые иногда губят хорошо задуманное дело.

Когда я рассказал Желябову про посещение околодочного, он был сильно встревожен этим и предлагал мне бросить эту квартиру и переехать куда-либо в другое место, причем припомнил

и киевское дело, когда посещение мастерской околодочным погубило все предприятие в самом начале. Чтобы решить вопрос о переезде, который тоже мог возбудить подозрение полиции своей внезапностью, Желябов счел нужным посоветоваться с Ионычем, как местным человеком и хорошо знавшим нравы харьковской полиции, с которой находился в хороших отношениях. Ионыч до некоторой степени успокоил Желябова и я закончил изготовление снарядов, не переезжая на другую квартиру. После этого я их сдал Желябову снаряженными, но без запалов, которые было опасно вставлять преждевременно.

Получив снаряды, Желябов поехал в г. Александровск; это было, приблизительно, в начале октября 1879 года, а я должен был приехать туда спустя недели две, захватив с собой земляной бур, электрические провода, спираль Румкорфа, электрические батареи и разный инструмент.

К моему приезду Желябов уже там устроился под видом купца, нанял отдельный домик, купил пару лошадей с экипажем, держал работника, он-же был и кучер, которым был рабочий Тихонов, а женой была Баска (Якимова), фамилию которой я узнал только впоследствии. Я нанял для себя отдельную комнату вблизи вокзала и приходил к Желябову только вечером перед тем, как идти на работу в овраг.

Работу начали не сразу как только я приехал, а приблизительно через неделю, так как нужно было ознакомиться с местностью, как можно лучше, чтобы темной ночью безошибочно можно было придти к оврагу и найти более безопасный спуск, по полотну же дороги мы не могли ходить из опасения привлечь внимание путевой стражи. Ознакомившись с оврагом и насыпью железнодорожного полотна, которая находилась приблизительно верстах в трех от вокзала, я по техническим соображениям предложил начать работу с самого трудного и опасного пункта, а именно с насыпи, просверлив которую буром до известной глубины и заложив мины, я сделаю затем соединение проводов между минами и, таким путем, главная и опасная работа будет закончена.

Остальная работа по прокладке проводов по дну оврага к шоссейной дороге будет не опасна по мере нашего удаления от насыпи. Считаю необходимым несколько подробнее рассказать об этой необычайно трудной работе, которую мы даже и не надеялись благополучно закончить и которая сильно расстроила наши нервы, бывшие до тех пор в порядке.

Перед самым началом работы на насыпи, к нашему несчастью, пошли сильные дожди-ливни, и вода с окрестных высот вся устремлялась в овраг, по которому стремительно неслась к насыпи, где и уходила через проложенную трубу под насыпью на другую сторону оврага. Не страшен нам был дождь, а страшны были его последствия, которые создали необычайную трудность для нашей работы. Дело в том, что стремительно несшаяся вода, несла с собой разный древесный мусор, который засорял проходную трубу, что уже было опасно для насыпи, так как вода, не имея выхода, поднималась выше и выше и своим напором пропитывала насыпь и разжижжала ее грунт. Это могло повлечь за собой катастрофу, подобно Кукуевской, когда при проезде поезда по насыпи, последняя расползлась и вагоны с людьми свалились под откос, их засосало жидкой грязью и все живое погибло. Железнодорожное начальство, очевидно, не надеялось на прочность своей насыпи и, зная опасность от засорения трубы, тщательно осматривало насыпь и трубу, причем каждую ночь железнодорожная охрана раза четыре или пять с фонарями спускалась по насыпи к трубе и осматривала ее. Пришлось работать в промежутки между осмотрами, которые мы хорошо изучили по часам.

Желябов выговорил себе право собственными руками просверлить насыпь, заложить мины и впоследствии соединить провода для взрыва поезда. Поэтому я и Тихонов только охраняли его во время работы на некотором расстоянии,—я со стороны Александровска, а Тихонов от Лозовой, причем я только указал Желябову, под каким углом нужно сверлить насыпь и на какую глубину, а также и место сверления, которое у меня было заранее днем замечено. Самым опасным делом была переноска снаря-

женной мины со вставленными запалами, а также опускание ее на место. Перенести требовалось на расстояние саженей двести от места, где стояла телега с лошадьми на грунтовой дороге, а под'ехать ближе было невозможно, местность не позволяла, причем приходилось несколько раз отвозить мину обратно в город на квартиру, так как за всю ночь не удавалось выбрать удобного момента для опускания: то проходили поезда, то сторож осматривал путь перед проходом поезда, согласно инструкции, которая в это время строго соблюдалась, то, наконец, приходила охрана. Пролежав на земле всю ночь, под утро приходилось тащить мину обратно к телеге и ехать домой, ничего не сделав за всю ночь. Такая задержка в работе начала нас сильно нервировать, а дальше пошло еще хуже, на каждом шагу опасность и задержка в работе. Наконец, Желябову удалось заложить первую мину, которая была к Александровску, причем мы с Тихоновым ему в этом помогали и не могли нести охраны в это время потому еще, что Желябов ночью почти ничего не видел, он страдал известной болезнью глаз, которая в народе зовется куриной слепотой, и Тихонов его всегда водил на работу и обратно за руку.

При закладке второй мины едва не произошло несчастье. В то время, когда Желябов стал опускать мину, показался сторож, который проходил без фонаря и я его увидел с близкого расстояния. Пришлось выхватить мину, спуститься пониже на насыпь и залечь на земле. В этом случае помогла нам, вероятно, и неблагоприятная погода, был сильный ветер с дождем и мокрым снегом, который слепил глаза.

Когда были заложены мины, я соединил их проводом между собой, с ответвлением к оврагу для дальнейшей прокладки по дну оврага и грунтовой дороге на расстояние приблизительно около двухсот саженей. Тогда только мы вздохнули свободнее, так как главная и самая опасная работа была закончена. На радостях мы сделали себе передышку и на следующую ночь не пошли на работу, кстати, и ночь была очень скверная.

Дальнейшая работа по прокладке проводов пошла сначала довольно быстро, да и погода улучшилась не надолго, но при первом-же сильном дожде оказалось, что протекавшая стремительно вода размыла провода и даже местами нарушила изоляцию проводов и разорвала их, так что наша работа и потраченное время пропали бесполезно. Таким образом, пришлось начинать сначала, причем я разделил провода. один повел с одной стороны, а второй с другой стороны оврага по более возвышенному месту. В это время ночи были очень темны, с сильным ветром и дождями, и мы, к своему удивлению, начали блудить, т. е. не попадали к оврагу на место работы, а уклонялись в сторону. Я только один раз всю ночь проблудил, падая в разные ямы и мелкие овраги, почему потерял всякое направление и попал на кладбище, сначала на русское, потом на еврейское, а Желябов с Тихоновым несколько раз не находили дороги и приходили на квартиру страшно измученные.

Такая непредвиденная задержка в срочной работе нас сильно нервировала. Тем более нам нужно было торопиться окончить работу скорее, потому что в это время к нам приехал из Симферополя Пресняков, который сообщил, что царского поезда нужно ждать каждый день. После этого он уехал обратно для того, чтобы сообщить нам условной телеграммой, который поезд нужно взорвать: первый или второй, так как оба поезда были одинаковы, оба шли с двумя паровозами и были разукрашены флагами и, хотя один поезд назывался свитским, но было известно, что царь переходил из одного в другой.

После сообщения Преснякова, мы с лихорадочной поспешностью старались окончить скорее работу, но эта поспешность нам мало помогала, так как невозможно тяжелые условия для работы остались почти те же, такая-же темнота, которая нас сбивала. Хотя мы и стали ходить все вместе, но иногда, придя к оврагу с какой-либо стороны, долго не могли найти единственный спуск в него, а приближаться к насыпи боялись из опасения, что нас заметят, и, вот, мы ползали по земле, разыскивая тропинку, а время уходило.

В довершение всего нам стало казаться, что за нами следят и хотят нас схватить на месте преступления и как-бы окружают нас, заходя со стороны на-

сыпи. Мы положительно галлюцинировали, смотришь и видишь: действительно кто-то стоит и смотрит, а когда подползешь по земле поближе, то увидишь, что это стоит безобидный столб с подпоркой, а тебе казалось, что человек ногу переставляет.

В одну такую ночь, когда лил сильный дождь с ветром, мне казалось, что какая-то массивная фигура надвигается медленно на меня. Я пополз навстречу и в нескольких шагах прицелился из револьвера, чтобы выстрелить, но в последний момент тихо окликнул; оказалось, что это Желябов, который как-то отошел от Тихонова, заблудился и медленно двигался со стороны насыпи, почему я и принял его за соглядатая.

В утешение Тихонов мне говорил, что он тоже несколько раз хотел стрелять в меня, когда я быстро переходил овраг на их сторону, где он работал с Желябовым для того, чтобы проверить и посмотреть, или вернее, пощупать место соединения проводов, а, между тем, нервы у Тихонова куда были крепче, чем у меня и Желябова.

В особенности я стал бояться за Желябова после того, как в одну бурную ночь мы не пошли на работу, зная, что ничего не удастся сделать и я остался ночевать в одной комнате с ним. В течение ночи я несколько раз просыпался от его крика, когда он вскакивал с кровати, ползал по полу и кричал: „прячь провода!“, „прячь провода!“. Может быть физические страдания тоже подействовали на нервную систему Желябова, так как он положительно дрожал и коченел от холода, лежа в грязи и мокрый до костей во время работы. Как мы его ни уговаривали не ходить с нами на работу, доказывали ему, что обойдемся без него, так как я работаю на одной стороне оврага, а Тихонов на другой, и он для нас лишний, тем более, что и караулить не может за своей слепотой, но уговорить Желябова было невозможно. Он прямо сказал нам, что пока он может двигаться, он будет разделять все лишения со своими товарищами, а также и опасность хочет делить вместе с ними.

К счастью для нас погода улучшилась и мы быстро закончили работу, да и пора было закончить, так как в тот день приехал Пресняков и сказал, что завтра царь будет проезжать в первом поезде. После этого он уехал на Север. В день проезда 18 ноября 1879 г. Желябов, Тихонов и я выехали в телеге, запряженной двумя лошадьми (а „Баска“ еще раньше уехала из Александровска) Желябов чувствовал себя бодрым, хотя имел вид человека измученного, как-бы перенесшего тяжкую болезнь. Перед проходом поезда мы под‘ехали к оврагу и остановились на условленном месте. Я вынул провода из земли из-под камня, сделал соединение, включил батарею, и когда царский поезд показался в отдалении, привел в действие спираль Румкорфа и сказал Желябову: „жарь!“. Он сомкнул провода, но взрыва не последовало, хотя спираль Румкорфа продолжала работать исправно. После этого я все раз‘единил, провода спрятал в землю, и мы печальные и потрясенные неудачей поехали домой.

Желябов был в особенно угнетенном состоянии духа и сказал, что он в тот-же день уезжает в Харьков. Я начал его просить остаться для того, чтобы выяснить причину, почему не произошло взрыва.

— Здесь взрыв не удался, так удастся в другом месте, — ответил Желябов.

Очевидно, Желябов под другим местом подразумевал Москву, где на другой день и произошел неудачный взрыв, но я и Тихонов об этом ничего не знали. Несомненно, в это время в партии проводилась строгая конспирация: каждый рядовой работник должен знать только свое дело и больше ничего. Не желая брать на себя нравственную ответственность за неудачу взрыва, так как техническое дело вел я, я настаивал, что нужно выяснить причину неудачи, кроме того, необходимо вынуть из земли провода, которые скоро могут быть обнаружены, потому что в одном месте возле грунтовой дороги они висели по стене оврага, не защищенные землей, и по ним могли дойти и до насыпи и что если Желябов не желает оставаться, то я один останусь.

Мои доводы повлияли на Желябова, он согласился остаться, и мы на другую ночь пошли к оврагу, захватив с собой батарею и спираль. На самой насыпи я раз‘единил провода и выключил обе

мины, затем на грунтовой дороге я включил батарею и спираль Румкорфа, т. е. сделал то-же самое соединение, какое было в момент прохождения царского поезда, лишь с той разницей, что теперь те концы проводов, которые тогда Желябов соединил для взрыва, были сомкнуты. После этого я повел его обратно на насыпь и дал ему в руки концы проводов, которые шли к минам по двум сторонам оврага, и просил его соединить их, прикладывая один к другому и раз'единяя, и когда он это делал, то каждый раз получалась сильная электрическая искра. Такой опыт наглядно показал, что провода, идущие по оврагу, не имеют обрыва и изоляция их не нарушена, иначе не получилась-бы сильная искра. Тогда оставалось только выяснить, почему эта искра не дошла до запалов, заложенных в мине. Это сделать было легко и не долго: вынимая из земли оставшиеся небольшие концы проводов, мы вскоре обнаружили обрыв провода почти у самой. мины.

Обрыв произошел несомненно от острой лопаты, которой случайно был перерезан провод во время работы, когда железнодорожное начальство в излишнем рвении подсыпало песок и украшало насыпь, приглаживая и выравнивая ее. Мы забрали провода, концы которых я обрезал глубоко у самых мин. Идя по дороге домой, я предложил Желябову один вопрос, который меня очень интересовал, почему он, как организатор, не пригласил для такого ответственного технического дела настоящего интеллигентного техника-специалиста, а взял меня, невежественного рабочего, знания которого никто не проверял; ведь, я мог сделать невольную ошибку, в результате чего была-бы неудача (хотя она и так произошла, но это уже не по моей вине). Желябов мне на это ответил, что в интересах революционного дела и партии нужно было показать правительству и всему русскому обществу, что отныне рабочие и крестьяне вступают на путь беспощадной борьбы с самодержавием и идут по этому пути, не останавливаясь ни пред чем.

Действительно, все мы, участники этого дела, были рабочие: Пресняков—петербургский рабочий-металлист, я—тоже, Тихонов—фабричный рабочий, крестьянин, и сам Желябов, хотя и учился в университете, но тоже сын крестьянина. Через день или два я уехал в Харьков, а Желябов с Тихановым остались еще на несколько дней для продажи лошадей и остального имущества. Вскоре я встретился с Желябовым в Харькове на квартире Ионыча, и на его вопрос, кому бы отдать на хранение привезенные им из Александровска провода, бур, запалы, спираль Румкорфа и батарею, я посоветовал отдать все это молодому Сыцянко, сыну профессора, который в своем доме найдет место для хранения, распределив все это по частям, на что я и надеялся. Желябов согласился с моим советом, отдал все это Ионычу, а тот передал молодому Сыцянко, я же к несчастью не встречал Сыцянко и не мог ему посоветовать, как распределить эти вещи, сами по себе в отдельности не представляющие ничего преступного, кроме запалов. Так, например, бур земляной имеется в продаже для испытания почвы, сверления ям для постановки столбов, и его свободно можно было поставить в сарай вместе с лопатами и ломами, имеющимися в собственном доме, спираль Румкорфа и батарею, как научные приборы, тоже прятать нечего, да и у профессора Сыцянко, когда я работал у него в мастерской, я видел несколько спиралей Румкорфа, некоторые еще больших размеров, для разных опытов, провода тоже имелись в мастерской разных сортов и наши провода можно было бросить тоже куда-нибудь в угол. Затем оставалось несколько штук маленьких запалов, которые, несомненно, можно было запрятать в доме, в саду или во флигеле, где проживал летом молодой Сыцянко.

Что же делает Сыцянко, получив эти предметы? Он берет большой мешок, складывает туда все вместе в одну кучу и туда-же умудряется и бур всунуть, носится с этим мешком по всему дому, то запрячет его на чердаке, то закопает в землю в саду и, наконец, подвешивает его на веревке в трубу во флигеле. Таким бестолковым прятанием он обратил внимание лакея, который служил у его отца, и тот сделал донос. Пришла полиция и, по указанию лакея, вытащила мешок из трубы.

Этого халуя я знал с плохой стороны,

как большого сплетника, но он считался человеком, преданным семейству Сыцянко, так как служил у них десятки лет. В начале полиция не придала значения этой находке и не понимала, для чего нужно было прятать подобные вещи, почему даже и не арестовала молодого Сыцянко и он приходил к Ионычу и рассказывал, что полиция думала найти оружие или литературу и была разочарована.

Через несколько дней он был все-таки арестован, но когда дело дошло до высших властей, то те сразу переполошились и поняли, что этот комплект предметов имеет связь с московским взрывом царского поезда, что такие-же предметы были найдены в брошенном доме после взрыва, откуда имелся подкоп под полотно дороги. Тогда арестовали и профессора Сыцянко, и двух его дочерей, а затем стали арестовывать тех лиц, кто был знаком с семейством Сыцянко, а так как у знакомых тоже оказались знакомые, то аресты начали все расширяться.

В Харькове заговорили, что будто-бы открыт заговор против царя, во главе которого стоял профессор Сыцянко. Таково было мнение властей, и это была не пустая болтовня среди либерального общества, а имелось основание для таких разговоров, так как власти были убеждены, что профессор Сыцянко стоит во главе организации цареубийства. В этом я убедился, когда впоследствии сидел в Петропавловской крепости и мне угрожали повторением серии пыток, которые я уже прошел за сокрытие главного организатора.

XIV.

Продолжение террористических актов.

В Петербурге.—Морозов, Тетерка и Меркулов.—Динамитная мастерская на Под'яческой улице.—Встреча с В. Фигнер.—Новый план цареубийства.

Желябова в это время не было в Харькове, где он был только проездом в Петербург, куда и меня приглашал для продолжения террористических предприятий.

Я ему обещал приехать в Петербург после того, как передам все свои знакомства в надежные руки.

Спустя недели три, а может быть и больше, точно не помню, мне удалось привести в порядок все свои дела и передать знакомства с рабочими, как Харьковскими так и Полтавскими, причем из последних не помню кто приезжал в Харьков.

Уехал я в Петербург приблизительно в начале декабря 1879 г. Как встретился с Желябовым—не помню.

Нанял я себе комнату на Выборгской стороне, по Астраханской улице, на углу маленького переулка в двухэтажном доме.

Дом этот сохранился и по сейчас, и одна половина, в которой я жил, сохранилась и занята рабочими, а остальная половина полуразрушена, как я видел, проходя на работу на телефонный завод „Красная Заря", в котором я работал до последнего времени.

По предложению Желябова, я должен был поучиться хорошо вырезать печати на камне.

Для того, чтобы мне указать, как это нужно делать, он обещал прислать ко мне одного молодого человека, по имени Николая.

Впоследствии я узнал, что это был Морозов, который и приходил ко мне два раза.

Приходил также и „Тетерка" и, как помнится, один или два раза был и рабочий Меркулов, который после своего ареста начал выдавать всех, кого знал. С Желябовым я встречался на пустын-

ных улицах Выборгской стороны, куда он приходил в назначенное время. Там во время одного свидания он предложил мне работать в динамитной мастерской, которая помещалась на Б. Под'яческой улице, № дома не помню.

Работа в мастерской была очень тяжела в том отношении, что приходилось вдыхать ядовитые газы, от которых страшно болела голова. Вся квартира была пропитана удушающими газами, которые выходили из каждого сосуда при обработке нитроглицерина, а таких сосудов было от трех до пяти, по числу работавших людей. Кроме того, и в кухне происходила работа, где сушился нитроглицерин. Я не говорю уже о той опасности, что при малейшей неосторожности мог произойти взрыв, который всех бы погубил. Вентиляция была только естественная, то есть открывали форточки и дверь из кухни на чердак, но это плохо помогало, а электрической вентиляции в то время не существовало.

Кто занимал эту квартиру, этот вопрос меня не интересовал, да и не принято это было спрашивать в виду конспирации, также как и знать фамилии работавших. Достаточно было, если назовут работавшего рядом товарища каким-либо именем Степан, Николай или Арон. Еще помнится мне, что я встречал на этой квартире „Баску“ (Якимову), но была ли она хозяйкой этой квартиры, я не знаю, потому что там была еще одна женщина. В задней комнате квартиры просушенный нитроглицерин смешивался с аммонием или магнезией и получался динамит соответственного названия; там-же производилась еще более опасная работа по изготовлению гремучей ртути. Для какого террористического предприятия в данное время приготовлялся динамит я не знал, и думаю, что и другие работники тоже не знали, и только после неудачного взрыва 5 февраля 1880 года в Зимнем дворце, я понял, куда пошел наш динамит и почему мы так усиленно работали; после этого мы по вечерам уж больше не работали, а только днем.

Так продолжал я регулярно работать в динамитной мастерской, а у себя на квартире занимался резьбой различных печатей. Изредка виделся я с Желябовым на улицах, где при одном свидании он мне сказал, что нам теперь нужно будет почаще видеться для того, чтобы выработать новый план цареубийства. Вместе с тем, он сообщил мне адрес конспиративной квартиры на Подольской улице для того, что если у нас расстроится свидание, так чтобы я мог сообщить туда, и ему передадут о новом месте свидания, также как и мне, причем рекомендовал мне крайнюю осторожность и чтобы я приходил туда в начале вечера и недолго там оставался. Свидания у нас, действительно, расстраивались, потому что Желябов был сильно занят и иногда не мог придти в назначенное время, почему я и ходил на Подольскую улицу, где в квартире встречал Ивановскую, старую мою знакомую с 1873 г., сестру доктора Ивановского, еще одну девушку Христину (Гринберг) и один, а может быть и два раза, хорошо не помню, видел Верочку, очень красивую барышню. Ивановская или Христина, не помню, сказала мне, что это Фигнер, серьезная революционерка. Еще припоминаю, но смутно, как будто я встречал там Терентьеву, мою знакомую по Харькову, затем видел двоих молодых людей, из коих один был еврей, а другой русский, но эта встреча была мимолетной и никто мне не назвал их под какой-либо кличкой, также меня не интересовало, кто хозяин этой квартиры, обращался же я всегда к Христине, когда мне нужно было видеть Желябова.

В сущности говоря, мне и не нужно-бы было знать адрес конспиративной квартиры, так как, когда я работал в мастерской, всегда мог там сказать, что мне нужно видеть Желябова, но оказывается, он так законспирировал динамитную мастерскую даже от самого себя, что имел сношения только через посредников.

Приблизительно в мае месяце, на одном свиданий на безлюдных улицах возле клиники Виллие и Медицинской Академии Желябов мне сказал, что он составил такой план взрыва, в котором предложил и мне участвовать, а именно, нанять какую-либо квартиру по пути царского проезда и устроить подкоп под улицу из этой квартиры, причем спросил моего мнения об этом плане. Я ему ответил, что это старый план, московский,

вести подкоп и что теперь полиция принимает несомненно такие меры, чтобы обезопасить путь следования царя, и наверно держит на учете все квартиры и подвалы по пути следования царя. Поэтому я предложил ему другую комбинацию, более новую, еще не испытанную, следовательно, имеющую больше шансов на успех. Зная разрушительное действие динамита даже на расстоянии, я предложил Желябову взорвать какой-либо мост по пути проезда царя.

Мой план заинтересовал Желябова и он сказал, что посоветуется с товарищами и даст мне ответ. На следующем свидании Желябов сообщил, что мой план одобрен и принят, и его нужно приводить в исполнение, но что нужно выработать подробности, которые поручаются мне, и что при следующем свидании, через два дня, чтобы я сообщил ему, какие подготовительные работы требуются для этого дела. За эти два дня я успел купить хорошую лодку и когда пришел на свидание Желябов, то я предложил ему поехать для осмотра мостов. Мы в тот-же день осмотрели мосты: Семеновский, Каменный и Красный, причем я остановился на Каменном, как более удобном по техническим условиям. Во время осмотра мостов я пояснил ему, что динамит должен находиться в герметически закрытых резиновых подушках, из которых будут выходить провода, указал место, где будут спрятаны выходящие из воды концы проводов, и что перед царским проездом мы приедем на лодке, я выну провода, сделаю соединение с батареей и прибором Румкорфа и дам ему их в руки, как это было в Александровске.

Предварительная работа будет заключаться только в опускании подушек в воду под мостом и отводе проводов к назначенному месту, причем я сказал Желябову, что в день проезда необходимо будет рано утром произвести испытание проводов путем электрических приборов, чтобы заранее быть убежденными в их исправности и чтобы не повторилась александровская неудача, а после испытания можно быть в уверенности, что повреждений в минировании не должно быть, потому что в день проезда речная полиция прекращает движение барж по каналам и рекам.

После осмотра я также продолжал ходить работать в динамитную мастерскую, где опять началась более усиленная выработка динамита. Так продолжал я работать до дня моего ареста, который произошел в первых числах июля 1881 г

XV.

Арест и суд.

Перед судом. — Допрос. — Плеве. — Прокурор Добржинский. — Суд. — После суда.—Помилование.

1881.

Арест мой произошел из-за несовершенства нашей паспортной системы, так как в то время полиция додумалась до проверки всех паспортов приезжих лиц, что грозило арестом для многих, кто не имел надежного паспорта.

Часа через два после того, как меня арестовали и привезли в ДПЗ *), приехал Плеве, который меня вызвал в канцелярию ДПЗ и, рассматривая меня как-бы с недоумением, спрашивал, давно-ли я приехал из Одессы и почему я нарядился в рабочий костюм. Когда я ответил, что я рабочий, то он не хотел этому верить и начал внимательно осматривать мои руки, которые не признал за рабочие, осматривал также и костюм, затем потребовал доктора для осмотра рук и определения ожогов и ран на руках.

Доктор дал такое заключение, что эти ожоги произошли не от горячего железа, как я об'яснил, а, по всей вероятности, от действия каких-либо кислот (действительно, я нечаянно обжег

*) Дом предварительного заключения, на б. Шпалерной ул., в Ленинграде.

себе руки серной кислотой), после этого Плеве спросил мою фамилию, я сказал—Сидоренко. Он возразил, что еще до моего ареста было выяснено, что фамилия Сидоренко вымышленная и что я Сидоренко № 2 и больше ничего. В этот вечер он меня не спрашивал.

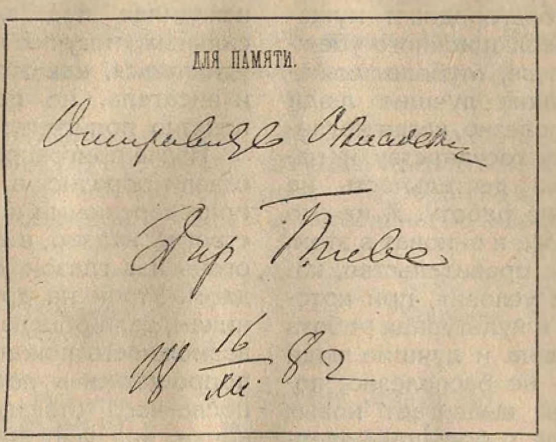
На второй или третий день меня повез в фотографию жандармский офицер, где я его запер на ключ и спустился по лестнице на улицу, но он, проклятый, скоро, выскочил, задержал меня на улице и отвез обратно в ДПЗ.

Спустя дня два меня повезли уже с жандармским офицером не в частную фотографию, а на Офицерскую улицу—в сыскное отделение. Там сняли с меня фотографическую карточку, а затем из ДПЗ отправили в Петропавловскую крепость и посадили в Трубецкой бастион.

Приблизительно через неделю меня повезли на первый допрос в здание окружного суда, в кабинет прокурора судебной палаты Плеве, который мне сказал, что меня по карточке узнал Гольденберг и что я действительно рабочий, тот самый Иван, который в Харькове изготовлял снаряды для взрыва царского поезда в Александровске, причем Плеве был страшно возмущен, что я, рабочий, поднял руку на царя — освободителя 20-ти миллионов крестьян.

На допросе я признал, что принадлежу к революционной партии той, именно, части ее, выражением которой служит журнал „Народная Воля", и назвал свою фамилию. Допрос этот был самый продолжительный, с вечера всю ночь до утра, во время которого курьер приносил раза три крепкий чай и кофе как мне, так и прокурору для поддержания бодрости, причем самый протокол допроса был очень небольшой, а Плеве вел беседу на политическую тему, как он имел обыкновение это делать не со мной одним, а и с Квятковским и Пресняковым, которые мне на суде об этом говорили.

Плеве старался выяснить себе, насколько я убежденный революционер и что заставило меня вступить на столь странный, по его мнению, путь, как цареубийство; старался доказать мне, что рабочие не должны вступать на путь политической борьбы с правительством, пусть это делает интеллигенция, с которой правительство легко справится, а рабочим до этого дела нет, и что политическая свобода только приблизит к власти буржуазию и либералов, которые к этому стремятся, а рабочие ничего от этого не выиграют. Я ему отвечал, что рабочие —бесправные рабы буржуазии и капитала, которых правительство поддерживает, а рабочим не дает никаких прав, что у нас даже нет фабричного законодательства, а все основано на произволе фабрикантов и заводчиков и что, именно, рабочие должны вступить на путь беспощадной борьбы с правительством и разрушить современный строй до основания.



Листок из блок-нота Плеве.

На угрозы Плеве, что правительство будет также беспощадно карать рабочих, как покарает и меня, я ответил, что это нас не устрашит, что я, ничтожный рабочий, один наделал порядочного зла правительству, а за мной стоят тысячи борцов, еще более отважных, чем я, которые будут продолжать борьбу до полной победы.

Наконец, Плеве договорился, можно сказать, до чертиков, стал восхвалять верещагинские сыроварни, распространение которых по России принесет большую пользу для крестьян, которые будут тогда сбывать излишнее молоко и иметь значительный доход от молочного

хозяйства, и тогда крестьяне будут исправно платить подати и не будет недоимок, которые теперь приходится высекать с крестьян, а, значит, незачем будет употреблять и розги. Вот, какую светлую картину нарисовал передо мной этот мудрый государственный муж, которая запечатлелась у меня в памяти, и я был поражен такой его наивностью и невежеством в знании крестьянского быта; очевидно, Плеве ничего не мог мне больше сказать в защиту правительства, которое, по его мнению, так заботится о народном благе.

Затем, хорошо помню, как Плеве начал хвалить Квятковского, которого он допрашивал раньше меня, какое хорошее впечатление произвел на него Квятковский своим благородным мужеством и глубиной революционного убеждения и что он, Плеве, глубоко сожалеет о том, что такие лучшие люди должны гибнуть бесполезно, когда моглибы приносить пользу государству и народу, направив свою деятельность на мирную и культурную работу. Я на это ответил ему, что кто-же и виноват в этом, как не само царское правительство, которое создало такие условия, при которых никакая мирная и культурная работа для народа невозможна и лучшие люди должны гибнуть, но не бесполезно, потому что гибель их выдвигает новых борцов, которые еще с большей энергией будут продолжать беспощадную борьбу. Пусть он не забывает, что возникновение террора есть одна из главных причин невозможности вести культурную и, вообще, просветительную работу среди народа, куда так жадно стремилась мирно настроенная молодежь.

Мой ответ не понравился Плеве и он назвал меня фанатиком, после чего отправил обратно в крепость и больше ни разу не допрашивал, а приезжали туда для допроса товарищ прокурора Одесского окружного суда Добржинский и жандармский полковник Никольский. После, кажется, двух допросов предварительное следствие было закончено и дело передано в военно-окружный суд, который состоялся в ноябре 1880 г. Как известно, военный суд приговорил Квятковского, Преснякова, Ширяева, Тихонова и меня, Окладского, к смертной казни.

На суде я отказался от защитника и в своей речи заявил, что я не прошу и не желаю снисхождения и ко всякой милости отнесусь с презрением.

Напрасно покойный Тютчев (в журнале „Былое“ № 20*) иронизирует надо мной и считает, что я как-бы рисовался своей гордостью и независимостью на суде. Никакой рисовки у меня не было, я был убежден, что мне так и следовало поступить, так как я вполне сознательно вступил на путь террора и принимал участие в покушении на цареубийство, что меня нравственно обязывало не просить от врага никакой пощады. Что мог сказать в мою защиту адвокат-краснобай, как не сославшись на мою молодость и неразвитость и на то, что я находился под влиянием воли более сильных, могучих людей. Я могу только удивляться, как это Тютчев, интеллигент и писатель, не понял того, что было понятно полуграмотному рабочему.

После приговора нас всех осужденных отвели обратно в ДПЗ, где над нами, приговоренными к смерти, был особенно строгий надзор, в камере всю ночь горел огонь и в глазок у двери смотрел жандарм. Утром на другой день нам, смертникам, дали общую прогулку и мы имели возможность пожать друг другу руки и попрощаться в последний раз в жизни, после чего отвезли в крепость по одиночке, под усиленным конвоем.

В крепости меня посадили в Трубецкой бастион и сразу же заковали в ножные кандалы легкого типа, причем не дали кожаных подкандальников, и на мою просьбу выдать их, смотритель тюрьмы ответил: „хорош будешь и так“, после чего тотчас-же в камеру ко мне посадили одного жандарма и крепостного служителя, которые положительно глаз не спускали с меня, и когда я ложился спать, так один садился на табурет в головах кровати, а другой—в ногах, так усиленно сторожили они жертву для палача.

Спустя дня два, ночью, ко мне в камеру приходил военный прокурор, полковник Ахшарумов, который обвинял нас на суде, и торжественно заявил, что он пришел поздравить меня с тем, что

*) См. статью „Судьба Ивана Окладского“ на стр. 457.

государь император всемилостивейше даровал мне жизнь (которая вскоре оказалась для меня страшнее смерти), после чего жандарм и служитель были немедленно удалены и я остался один в камере.

Как известно, высочайшая милость была дарована нам троим: мне—Окладскому, Тихонову и Ширяеву, а Квятковский и Пресняков были казнены, как имевшие за собой трупы и человеческую кровь. Милость эта была вызвана чисто политическими причинами, как я узнал об этом впоследствии из революционной литературы. Так, Лорис-Меликов, который тогда управлял Россией и создал диктатуру сердца, телеграфировал царю в Ливадию, что казнь всех пяти человек политических преступников произведет тяжелое впечатление на все русское общество и печать, с которыми он тогда заигрывал. Вот почему мы были помилованы.

XVI.

Предательство.

Первое предательство.—Судейкин.—В крепости.—Еще одно признание.—Полковник Никольский.

В это время нервы мои были настолько расстроены предшествующей напряженной революционной деятельностью—работой в динамитной мастерской, с ежеминутной опасностью взрыва, что меня сильно волновало и раздражало, повидимому, такое пустое обстоятельство, как бой курантов на колокольне церкви Петра и Павла, хотя это и не на одного меня действовало, а и на других заключенных. Между тем, как этот-же бой и перезвон колоколов не производит никакого впечатления, когда люди их слышат, находясь на свободе. Здесь-же, сидя в камере среди могильной тишины, когда как-бы над самой головой раздается заунывный, резкий перезвон каждую четверть часа, и слышишь каждый час замогильную мелодию „коль славен наш господь в Сионе“, а в дополнение к этому в 12 ч. дня и в 12 ч. ночи финальную арию „боже, царя храни“,—и все это такими похоронными звуками, то получается такое впечатление, что тебя, заживо погребенного, хоронят каждый час; в особенности, эта адская музыка действовала на нервы по ночам.

> Начальникъ С.-Петербургскаго Губернскаго Жандармскаго Управленія
> 28 февраля 1881 г.
> № 585.
> Въ С.-Петербургѣ.
>
> *Секретно.*
>
> Господину Министру Внутреннихъ Дѣлъ
>
> Арестованный 27-го февраля с. г. Михаилъ Николаевичъ Тригони былъ секретно показанъ Ивану Окладскому, который въ немъ призналъ лицо, носившее въ революціонной средѣ названіе „милорда“ и „намѣстника“.
>
> Генералъ-маіоръ *Комаровъ.*

Также действовал на меня безобидный для нормального человека глазок в двери, который поднимался, когда я шел к окну, и опускался, когда я возвращался обратно к двери, производя некоторый шорох или звук,—и вот, этого было достаточно для того, чтобы вывести меня из равновесия. Я бросался к двери и начинал неистово кричать и колотить кулаками в дверь и форточку, за что меня били и привязывали к кровати, пока я не успокоюсь. Ноги мои уже были поранены или, вернее, кожа протерта от трения кандалов, под которыми не было предохраняющих подкандальников.

Во время одного такого припадка, когда я лежал привязанный к кровати, мне несколько раз подносили к лицу

фотографическую карточку и спрашивали: „кто это?“ И я ответил, что это Лобанов или Лобанчук (курсив наш). Спустя некоторое время мне стали показывать уже много карточек и требовать, чтобы я назвал их фамилии. Я отказывался назвать и говорил, что не знаю и, действительно, не знал, как приезжий с юга, а эти люди, очевидно, были северной группы, но мне не верили.

Вскоре приехал в крепость Судейкин и меня отвели к нему на допрос в другое помещение, находившееся вне стен Трубецкого бастиона. Это был зал с низким потолком. Если смотришь из этого зала в правую сторону от входной двери, то в маленькое окно видна часть реки Невы.

Судейкин встретил меня очень сурово и сказал мне, что он меня знает и видел раньше. Я, конечно, удивился, как он мог меня знать. Тогда он напомнил мне, что когда я в Киеве на Боричевом току занимал дом, в котором была устроена мастерская, где я изготовлял разрывные бомбы и выносил во двор сушить формы, он в это время наблюдал за мной с высоты колокольни Андреевского собора и смотрел в бинокль, что я делаю, причем со злобой сказал мне, что я тогда ускользнул из его рук и расстроил так прекрасно налаженное им дело наблюдения, что мой побег чуть не повредил его карьере, но зато теперь я не ускользну из его рук. Затем начал требовать, чтобы я указал фамилии по пред‘явленным мне фотографическим карточкам. Я ответил, что не знаю никого, кроме Лобанова, которого я и указал.

Тогда он стал требовать, чтобы я рассказал ему, что делается на свободе, какие еще страшные планы задумывает партия террористов, среди которых я занимал, по его мнению, не последнее место. Я ему возразил, что откуда же мне знать это, сидя замурованным в стенах крепости, отрезанным от всего живого на свободе, и что я был только рядовым работником партии и знал только то дело, в котором сам принимал участие.

После моего ответа он с бешеной злобой кричал, что он добьется от меня каких-либо указаний и ни перед чем не остановится, чтобы я не забывал, что я теперь бесправный каторжник, с которым он может делать все, что ему угодно, и что он не выпустит меня из своих рук до тех пор, пока я не подчинюсь его воле. Затем он еще кричал о своей безграничной власти над всеми тюрьмами и осужденными политическими преступниками.

После этого меня отвели обратно в бастион, откуда через день или два ночью вывели из здания бастиона, провели немного по узенькому переулку и посадили в какой-то каземат, находящийся внизу и, как мне казалось, вблизи той верхней залы, где меня допрашивал Судейкин. Я полагаю, что это была Екатерининская куртина, так как я раньше слышал, находясь еще на свободе, что в нашей Бастилии имеется три тюрьмы—Трубецкой бастион, Екатерининская куртина и Алексеевский равелин.

Каземат, в который меня посадили, был немного больше по размерам, чем камеры бастиона, имел деревянный пол и одно окно с чудовищной толщины стеклом. Решетка в окне тоже была несравненно толще, чем в камерах бастиона. Каземат или камера имела заброшенный вид, она, очевидно, долгое время не отапливалась, была сыровата и очень холодна. В сильные морозы, в декабре месяце, меня посадили туда в одном белье, туфлях и легком халате, на кровати не было никаких спальных принадлежностей, только одни доски. Тюремная стража состояла из одних жандармов, не было крепостных солдат-служителей, которые назывались присяжными, пища состояла из одного фунта хлеба и кружки воды, которая давалась не каждый день, а, как помнится, через день или два, так-что приходилось голодать, между тем, как в бастионе и на каторжном положении выдавали три фунта хлеба очень хорошего качества и горячую пищу, хотя довольно плохую, но зато давали хороший квас.

При переводе в эту камеру меня перековали в более тяжелые кандалы, ручные и ножные, причем также не дали кожаных подкандальников. Для меня это было мучительно, так как двигаться по камере мне нужно было для того, чтобы хоть немного согреться. В то время я

испытывал сильную боль оттого, что кольца кандалов протерли кожу и, двигаясь по живому мясу, страшно холодили. Холод я испытывал ужасный, положительно медленно замерзал, чему способствовали недостаток пищи и, в довершение всего, побои. Били за то, что я разрывал часть рубашки и подвертывал под кандалы, били и так, без всякой причины. Тогда я понял, что Судейкин приводит в исполнение свою угрозу и это уже не только жестокое обращение за буйство, как было в Трубецком бастионе, а что-то похуже. Это, по моему мнению, уже была медленная пытка.

Спустя, приблизительно, недели полторы или две меня перевели в Алексеевский равелин, в чем я был уверен до 17 марта с. г., когда в ДПЗ, вместе со следователем, приехал эксперт для допроса. Фамилию свою он от меня скрывал и не хотел сказать, но я полагаю, что это был историк Столпянский*), который и доказал мне, что я не сидел в Алексеевском равелине.

Для того, чтобы туда попасть, нужно было проходить по мостику через канал, а я его не проходил. Меня проводили ночью по узкому проходу между двумя зданиями и куда-то завернули вправо или влево, хорошо не помню, где и посадили в какое-то здание. Было-ли это отдельное здание или продолжение какого-либо большого здания, я не мог рассмотреть за темнотой и быстротой, с которой меня вели под руки жандармы, но эта быстрота несколько умерялась, потому что я не мог быстро идти. После моего допроса Столпянским я припомнил, что об Алексеевском равелине я читал статью в журнале „Былое" за 1906 или 1907 г., подписчиком которого я был в то время. №№ журнала у меня и посейчас хранятся...

В этой статье подробно описывается Алексеевский равелин и говорится, что это отдельное здание и находится в отдалении от других, но я совершенно об этом забыл по прошествии 17 лет.

Застенок, куда меня посадили, произвел на меня впечатление своей мрачностью и стариной; окно в моей камере было полукруглое, почти у самого пола, и пока оно еще не было заделано, мне удалось заглянуть в него и я увидел, что

---

*) Это был не Столпянский, а П. Е. Щеголев (прим. ред.).

М. В. Д.
Департаментъ
Государственной Полиціи.
24 декабря 1882 г.
№ 723.

Совершенно секретно.

Г-ну Начальнику Тифлисскаго Губернскаго Жандармскаго Управленія.

По **ВЫСОЧАЙШЕМУ** повелѣнію, послѣдовавшему 15 минувшаго октября, лишенный всѣхъ правъ состоянія по обвиненію въ государ. преступленіи мѣщанинъ Иванъ ИВАНОВЪ подлежитъ ссылкѣ на поселеніе въ мѣстности Закавказскаго края. Препровождая при семъ названное лицо въ распоряженіе В. В-дія, покорнѣйше прошу испросить ближайшихъ указаній относительно мѣста водворенія его, согласно ст. 7 Уст. о ссыльн. у Главноначальствующаго краемъ, которому, вмѣстѣ съ симъ, сообщено о высылкѣ ИВАНОВА въ Ваше распоряженіе и о послѣдующемъ увѣдомить Д-тъ, телеграфировавъ притомъ о благополучномъ прибытіи названнаго лица въ Тифлисъ.

Къ сему долгомъ считаю присовокупить совершенно конфиденціально, что прибытіе ИВАНОВА на Кавказъ должно быть сохранено въ тайнѣ, такъ какъ въ виду услугъ, оказанныхъ имъ государственной полиціи, въ случаѣ обнаруженія его мѣстопребыванія, ему можетъ грозить мщение со стороны отдѣльныхъ личностей; самое-же пребываніе его на Кавказѣ, при изложенномъ условіи можетъ принести въ будущемъ несомнѣнную пользу.

Директоръ *Плеве.*

Скрѣпилъ: За дѣлопроизводителя *Зволянскій.*

оно выходило на какой-то пустырь. где не было никаких строений, почему я и вообразил, что сижу в Алексеевском равелине*). Смотрителем этой тюрьмы я считал Ирода (Соколова), про которого я тоже читал в журнале "Былое". Почему-то мне это название врезалось в память, но Ирод в то время еще не был Иродом. Это впоследствии шлиссельбуржцы дали ему эту кличку. Ко мне заходил в камеру какой-то жандармский офицер с зверской рожей, которого я в своем показании следователю и назвал Иродом, а может быть, он одновременно был смотрителем равелина и заглядывал и в тот застенок, где я сидел,—все это возможно.

Начальникъ Курскаго Губернскаго Жандармскаго Управленія
8 Января 1882
№
г. Курскъ

868
12 ЯНВ 8

Препровожденный ко мнѣ при отношеніи Начальника Тульскаго Губернскаго Жандармскаго Управленія отъ 3 сего Января за № 3, высылаемый по Высочайшему повелѣнію на поселеніе въ мѣстности за Кавказскаго края лишенный всѣхъ правъ состоянія по обвиненію въ Государственномъ преступленіи, мѣщанинъ Иванъ Ивановъ, мною сего числа при отношеніи за № 16 отправленъ въ распоряженіе Начальника Харьковскаго Губернскаго Жандармскаго Управленія для дальнѣйшаго препровожденія его въ г. Тифлисъ.

О чемъ имѣю честь донести Департаменту Государственной Полиціи на циркулярное предписаніе отъ 30 Іюня 1882 года за № 6110.

Полковникъ Вальманъ

Департаментъ Государственной Полиціи

Сообщение нач. Курского Губ. Жанд. Управл. полковника Вальман.

В камеру ко мне посадили одного жандарма и, кажется, как я заметил в первый день по мундиру, одного крепостного служителя (потом я уже не замечал мундиров), которые не давали мне возможности заснуть, сидя на табуретке, хотя тут-же находилась и кровать со всеми принадлежностями, причем окно совершенно закрыли, так что день и ночь горела керосиновая лампочка. Когда я засыпал, сидя на табуретке, и падал на пол, то меня поднимали и сажали на табурет, держа под руки, но я опять засыпал. Затем меня держали поднявши, сильно толкали в бока и встряхивали, но я засыпал и в этом висячем положении, тогда меня подхватывали и сажали в ледяную воду, в ящик или ванну, которая тут-же стояла в углу. Ледяная вода временно приводила меня в сознание, меня вынимали и опять держали под руки, но я впадал в бессознательное состояние, так как я и раньше уже был измучен бессонницей от сильного холода. Сколько времени это продолжалось, я не могу сказать, так как огонь горел день и ночь и я не мог определить время. Когда-же меня приводили в сознание, то появлялась зверская рожа смотрителя, который спрашивал, скоро-ли я буду говорить. Во

*) Первоначально Окладский настаивал, что это был именно Алексеевский равелин. (Прим. ред.).

время одной такой передышки я сказал смотрителю на его вопрос, что буду говорить. После этого мне дали возможность немного заснуть, и как меня расковали и освободили от кандалов, я не слышал. Затем меня ночью перевели обратно в Трубецкой бастион, где я, вероятно, долго отсыпался.

Нравственно состояние мое было сильно подавлено, меня охватило какое-то животное отупение и полная апатия овладела мной. Я был совершенно ошеломлен и подавлен и нервно дрожал, превратился в какое-то жалкое, безвольное существо, и когда через несколько дней приехал Судейкин, я покорно согласился отвечать на вопросы и говорить, что знаю. Затем я просил Судейкина, чтобы он отправил меня в Сибирь на каторгу, но он ответил, что этого не сделает, что я еще ему нужен и он на меня имеет дальнейшие надежды.

После Судейкина меня призвали к допросу прокурор Добржинский и полковник Никольский. Допросы эти были многочислены и повторять далее все то, о чем меня спрашивали, у меня нет времени, которое ограничено, так как все это уже подробно записано в моих показаниях следователю, а я здесь дополню только некоторые подробности, которых нет в моих показаниях и которые я упустил тогда.

Во время одного моего допроса в крепости Добржинским и Никольским, не помню, какого по счету,—не нужно забывать, что это происходило 43 года тому назад,—мне предложили подписать какую-то бумагу, протокол или доклад, не знаю, как его назвать, заранее составленный. Доклад этот предназначался, как я полагаю, министру внутренних дел Лорис-Меликову, причем он не весь мне читался, а только та часть, в которой говорилось о профессоре Сыцянко, где он обрисовывался, как крупный политический деятель и даже возможный организатор покушений на жизнь царя. В подтверждение этого приводились разные доводы, например, моя работа у него в мастерской, отдача ему на хранение всех принадлежностей, оставшихся после неудачного покушения в г. Александровске и, в заключение, ссылка на меня, что будто-бы я считаю его серьезным деятелем, близко стоящим к центру партии, а может-быть и во главе, и хотя я не указываю фактов, но это мое убеждение. Вот, в общих чертах и довольно кратко все, что я припоминаю, было написано в этой бумаге. Я отказался подписать эту бумагу и сказал Добржинскому и Никольскому, что я говорил относительно Сыцянко как-раз обратное, что он, по моему убеждению, совершенно посторонний человек и работал я у него в мастерской случайно, потому что ему нужен был механик для мелких работ по его изобретениям, и что по моему совету были отданы его сыну принадлежности для взрыва, как в более безопасное место. Тогда полковник Никольский стал кричать на меня и говорить, что напрасно я защищаю Сыцянко, что он теперь сидит в тюрьме в Харькове, что мы его теперь не выпустим и все равно узнаем про его революционную деятельность из других источников. Тогда меня постигнет еще худшая неприятность, чем та, которая произошла со мной недавно, (по мнению Никольского, пытка только неприятна) и, наконец, не все-ли мне равно оттого, как я укажу в ту или иную сторону, но раз мы требуем, значит, нам так нужно. После этого я обратился к прокурору Добржинскому и напомнил ему, что сравнительно недавно, после происшедшей со мной неприятности, о которой сейчас говорил полковник Никольский, он сам мне говорил, чтобы я в своих показаниях ничего не преувеличивал, а говорил-бы только одну правду о том, что мне известно, а теперь вы требуете от меня ложных показаний под угрозой повторения мучений, и что если я и подпишу вашу бумагу, так это будет оговор, вырванный насилием, и я при первой возможности буду отрекаться от него.

После моих слов Добржинский обратился к Никольскому со словами: „я говорил вам, что он не согласится". Затем у них начались какие-то пререкания, перешедшие в ссору, но в чем они упрекали друг друга я, отчасти, не понял, а остальное забыл. Я и раньше замечал, что они как-будто враждебно относятся один к другому, и теперь это стало ясно для меня.

Спустя некоторое время, приблизительно в конце марта или начале апре-

ля 1881 г., помнится, перед концом моих допросов, которые вскоре прекратились, и меня как-бы забыли в крепости почти на два года,—тогда еще был у власти Лорис-Меликов,—за мной приехал в крепость какой-то жандармский офицер, который отвез меня в карете в жандармское управление на Пантелеймоновской ул. Там меня встретил только один Никольский, обыкновенно-же меня, как и других, всегда допрашивали, за редкими исключениями, в присутствии прокурора.

Никольский заговорил со мной очень любезно, чему я удивился, а когда он ввел меня в другую маленькую комнату, рядом с его кабинетом, где был накрыт небольшой стол с разными закусками и водкой, и он предложил мне выпить и закусить не стесняясь, то я еще больше удивился и насторожился, подумав, что значит он хочет вырвать у меня показания против профессора Сыцянко не угрозами, а лаской, угостив и подпоив меня водкой, но я все-таки спросил его, придет-ли Добржинский на допрос. На это он со злобой ответил, что на кой мне чорт Добржинский нужен, он один хочет со мной дело иметь. После этого он налил мне большую рюмку водки, а также и себе; я выпил и стал закусывать. От второй рюмки я отказался и сказал ему, что я и раньше много не пил, а теперь я очень слаб и на меня и одна рюмка сильно подействовала, а если выпью вторую, то не смогу отвечать ему на допросе. Тогда он сказал, что мы потом можем выпить основательно и я могу здесь выспаться на диване, так как не может-же он отпустить меня пьяного в крепость.

Затем Никольский пригласил меня в кабинет, где начал говорить, что теперь он не будет требовать от меня подписать заранее составленную бумагу, а будет меня спрашивать и записывать мои слова в протокол. При этом я не должен отрицать прикосновенности Сыцянко к революционным делам, а высказать свою уверенность, что Сыцянко несомненно сочувствовал революционному движению и многое знал, но был опытный конспиратор, почему я и не знал подробностей о его деятельности.

Я отказался показывать в подобном направлении и повторил то, что говорил в крепости, а именно, что Сыцянко, по моему убеждению, посторонний человек, ничего общего не имеющий с революционным делом, и если его сын и дочери считаются революционерами, так это еще ничего не доказывает, чтобы и отец был революционер, и, наконец, я хорошо знаю, что и дети Сыцянко, в особенности дочери, совершенно безобидные люди и никакого участия в революционном деле не принимали, а только, может быть, интересовались. Но разве я мог убедить в чем-либо Никольского, как и современного следователя, который тоже не верит ни одному слову заключенного в тюрьму или подсудимого, и в каждом слове видит уловку и замаскирование правды. Тогда Никольский старался убедить меня, что в моих интересах показывать так, как он хочет, потому что Судейкин имеет силу меня наказать и помиловать, а Добржинский не имеет никакого значения и ничего не может сделать для облегчения моей участи, хотя и обещает. Но в этом он ошибся. Как известно, Добржинский оказался сильнее и вскоре его сковырнул в отставку, а сам быстро возвысился. После этого, видя, что я не поддаюсь на его убеждения, Никольский опять начал угрожать и, накричавшись досыта, отправил меня обратно в крепость.

Мне невольно теперь вспоминаются слова члена бывшей государственной думы 3-го или 4-го созыва, генерала Бобянского, бывшего военного прокурора, как он с думской трибуны громил жандармерию и говорил, что жандармы это—отверженные люди, парии человечества, не принятые ни в каком обществе, никакой порядочный человек не протянет ему руки, что нет такой низости, подлости, перед которой он бы остановился и т. д.

Речь Бобянского в свое время была напечатана во всех либеральных газетах, и отдельные, более резкие слова и образы, крупным шрифтом. Очевидно, Бобянский, сам царский слуга, настолько хорошо изучил жандармерию, что у него вырвался вопль негодования на действия жандармерии, но я тогда не понимал, для чего нужно Никольскому губить такого неповинного человека,

как профессор Сыцянко, когда у него и так имеется достаточно жертв.

На другой день я сидел в крепости и заявил смотрителю, что желаю видеть прокурора Добржинского, который через несколько дней приехал в крепость. Я ему сказал, что меня допрашивал Никольский и опять под угрозой мучений требовал, чтобы я оговорил Сыцянко, и рассказал, как он меня сначала ласково встретил и угощал водкой и закусками, думая этим соблазнить, и что теперь мне предстоит выбор между оговором лиц невинных или же повторением моих мучений, которыми мне угрожает Никольский. При этом я еще раз напомнил ему, где же его слова, что ему нужно знать только одну правду без всяких преувеличений. Затем я сказал ему, что он, как прокурор, считается стражем закона, что даже революционеры смотрят на прокуроров несколько лучше, чем на жандармов, и, как я слышал, когда еще был на свободе, что прокурор по законам назначается к допросам, как гарантия того, что жандармское дознание производится правильно и закономерно под его наблюдением. Так, почему же он допускает такое извращение закона и позволяет вымогать от осужденного преступника признания, вырванные пыткой, другого названия я не подберу.

Это уже не жестокое обращение, а, именно, пытка и, наконец, если-бы на свободе узнали об этом, так это вызвало-бы взрыв негодования среди русского общества и рабочих, а о революционерах я уже не говорю. Это стало бы известно также и заграницей, где тоже произвело-бы известное впечатление и раскрыло-бы, к каким позорным средствам прибегает русское правительство в своей борьбе с революционерами и, кто знает, может-быть само правительство отвернется от вас и привлечет к ответственности за злоупотребление властью. Поэтому, в ваших-же интересах, я советую вам скорее меня уничтожить, так как только могила хорошо хранит свою тайну, а мне умереть легче, чем продолжать такую позорную жизнь, тем более, что я раньше не боялся смерти, а шел сознательно на встречу ей, доказательством чего служит все мое поведение на суде, и не моя вина в том, что меня не казнили.

Добржинский сразу ничего мне не ответил, но, подумав, сказал, что я сильно все преувеличиваю при своем нервном состоянии, что кто-же возьмет на себя ответственность за тайную казнь, что это все фантазия с моей стороны, да и кому нужна эта казнь.

Правда, полномочия Судейкина громадны, но всему есть предел, что он

Товарищъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ.
24 декабря 1882 г.
№ 721.

Совершенно секретно.

М. Г.
Александръ Михайловичъ.

По Высочайшему повелѣнію, послѣдовавшему 15 минувшаго октября, лишенный всѣхъ правъ состоянія по обвиненію въ государственномъ преступленіи, мѣщанинъ Иванъ Ивановъ подлежитъ ссылкѣ на поселеніе въ мѣстности Закавказскаго края. Во исполненіе сего названное лицо вмѣстѣ съ симъ препровождается въ распоряженіе Начальника Тифлисскаго Губ. Жанд. Управленія, причемъ Полковнику Пекарскому предложено испросить у Вашего Сіятельства ближайшихъ указаній относительно мѣста водворенія мѣщанина Иванова, согласно ст. 7-й Устава о ссыльныхъ.

Сообщая объ изложенномъ Вашему Сіятельству, я имѣю честь присовокупить, что въ виду несомнѣнныхъ услугъ, оказанныхъ Ивановымъ Правительству, самое поселеніе его на Кавказѣ подлежитъ сохраненію въ тайнѣ, такъ какъ въ случаѣ обнаруженія его мѣстопребыванія, ему можетъ грозить опасность мщенія со стороны отдельныхъ лицъ; при этомъ желательно также по возможности не стѣснять его въ выборѣ мѣстожительства и занятіяхъ, такъ какъ пребываніе его на Кавказѣ можетъ принести въ будущемъ государств. полиціи существенную пользу.

Покорнѣйше прося не отказать почтить меня увѣдомленіемъ о послѣдующемъ, пользуюсь случаемъ засвидѣтельствовать Вашему Сіятельству чувства истиннаго почтенія и совершенной преданности.

Покорнѣйшій слуга
Петръ Оржевскій.

Его Сіятельству Князю
А. М. Дондукову-Корсакову.

сам возмущен всем тем, что произошло со мной, но помешать этому он не мог, потому что ничего не знал, а теперь он уверен, что больше ничего подобного со мной не повторится, так как он примет к этому меры и советовал мне успокоиться и прибегнуть к медицинской помощи.

Я его спросил, как он может помешать Судейкину, когда он сам признает его страшную власть.

На это он мне ответил, что он, как прокурор, подчинен только министру юстиции, которому и сделает соответственный доклад о моем деле, причем сейчас же начал писать протокол моего заявления и расспрашивал о подробностях.

По окончании протокола, который я подписал, Добржинский мне сказал, что несомненно в будущем моя участь будет облегчена, в чем он примет участие, но в какой мере и когда это случится, он не может определить, но что он советует мне твердо помнить, что где-бы я ни был, на каторге или в ссылке, я никому не должен говорить о том, что происходило со мной в крепости и, вообще, постараться совершенно забыть об этом.

XVII.

На свободе.

Визит Судейкина. — Свобода . . . — В Тифлисе. — Встречи с революционерами. — Снова Судейкин. — Посещения жандармского управления.[1] — Снова суд. — Защитник рабочих . . . — Снова арест. — Убийство Веденеева.

Впоследствии, в свой приезд в крепость, Судейкин подробно развивал свой план фиктивного побега, который он устроит для меня, говорил, что у него жандармы „свои люди“ и сделают все, что он им прикажет, чтобы я не боялся, когда в меня будут стрелять, о чем я уже говорил в своем показании следователю; и несомненно, он бы меня увез из крепости, но я вскоре заболел, а после болезни медленно поправлялся, был очень слаб, все больше лежал на койке и не мог двигаться, так-что перевозить меня в таком виде было бы неудобно. Также, может быть, Судейкин отказался от своего плана потому, что нашел более подходящего для себя сотрудника в лице Дегаева, которому, как известно, он и устроил такой фиктивный побег в Одессе. Никогда никакого прошения о помиловании или смягчении своей участи я не подавал, а если кто писал и ходатайствовал за меня, так мне об этом решительно ничего не сообщалось. Я сидел в крепости, как-бы совершенно забытый, вплоть до последних дней перед отправкой меня в ссылку в Закавказский край.

Когда я сидел в тюрьме при департаменте полиции, куда был привезен из крепости, туда пришел ко мне Добржинский, который сообщил, что ему удалось значительно облегчить мою участь и что меня на-днях отправят в путь.

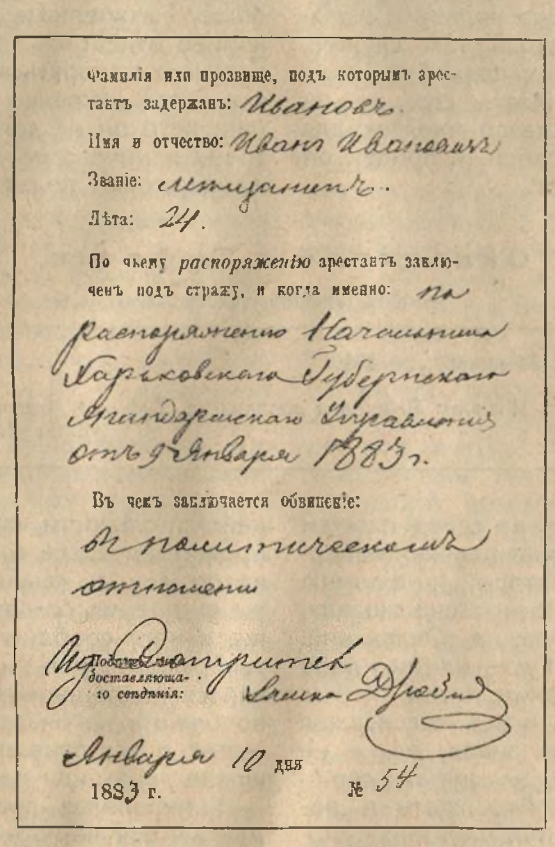
Тот-же Добржинский, спустя 8 лет, напомнил обо мне Дурново, который и вытащил меня из ссылки для своих целей. Не стану здесь повторять о том, как меня в дороге задержал Судейкин, так как все существенное мной сказано в моих показаниях следователю,—иначе у меня не хватит времени, чтобы закончить мои воспоминания, — упомяну только о мелких подробностях, которые не вошли в мои показания.

Очутившись на свободе в Тифлисе, где под влиянием хорошего климата я быстро окреп и ожил, меня охватила неудержимая жажда жизни. Я забыл мрачные мысли о желании смерти, — все это мне казалось таким далеким и

чуждым, мне захотелось пожить личной жизнью без всяких треволнений и опасностей, связанных с деятельностью революционера.

Вскоре я, с разрешения главноначальствующего на Кавказе князя Дондукова-Корсакова, поступил в главные железнодорожные мастерские Закавказской жел. дор., которые в это время уже были переведены в Тифлис со станции Михайлово, где я раньше работал. Вместе с мастерскими, конечно, были переведены и рабочие, и немыслимо было мне, работая в мастерских, не встретиться со старыми знакомыми, и я их встретил.

Рабочие, которых я встретил, были члены того кружка, который в 1877 г. я организовал на станции Михайлово. Большая часть их уцелела, а некоторая часть тогда даже уехала со мной в Ростов. Старые товарищи, увидя меня, обрадовались, рассказали мне, что хотя кружок и распался, но количество распропагандированных рабочих значительно увеличилось и что мне теперь не трудно будет вновь организовать еще больший кружок, но я от этого решительно отказался, да и сами рабочие заметили, что я не тот живой, энергичный Александров, которого они раньше знали. В мастерских существовала тоже рознь между разными национальностями: грузинами, армянами, мингрельцами, имеретинами и проч. Русские попрежнему считали себя выше всех, но только я заметил, что со стороны русских рабочих теперь меньше проявлялось гордости и надменности к туземцам, чем это было прежде. Администрация мастерских поддерживала эту рознь, очевидно, руководствуясь древним римским правилом: „разделяй и повелевай", и действительно, рабочим трудно было столковаться и защищать свои интересы.



Фамилія или прозвище, подъ которымъ арестантъ задержанъ: Ивановъ

Имя и отчество: Иванъ Ивановичъ

Званіе: мѣщанинъ.

Лѣта: 24.

По чьему *распоряженію* арестантъ заключенъ подъ стражу, и когда именно: по распоряженію Начальника Харьковскаго Губернскаго Жандармскаго Управленія отъ 9 Января 1883 г.

Въ чемъ заключается обвиненіе: въ политическомъ отношеніи

Подпись составляющаго сведѣнія: [illegible]

Января 10 дня 1883 г. № 54

Карточка на Онладского, составленная в Харькове, где он пробыл с 9 янв. по 26 янв. Из Харькова он был „при пакете № 723" препровожден в Ростов на Дону, а отсюда в г. Тифлис.

В жандармское управление я должен был являться раз в неделю для того, чтобы показаться, что я не сбежал. Таково было правило для всех ссыльных, кроме того, и местный околодочный заглядывал на квартиру и справлялся, каждую-ли ночь я ночую дома. В этом выражался надзор полиции, под которым я находился.

Вскоре в городе я встретился с учителем гимназии Гамкрелидзе младшим, с которым я одно время жил в Одессе на одной квартире, и который меня сразу узнал. Я ему откровенно все рассказал, как я попал в Тифлис, не смотря на это Гамкрелидзе приглашал меня приходить к нему на квартиру, знакомил с местной грузинской интеллигенцией, как-то: Бухеладзе, Гогоберидзе и др., а когда я спросил его, почему он меня не опасается, он ответил, что пусть другие лица меня судят, а он лично относится ко мне благожелательно.

Вскоре я встретил петербургского рабочего Гусева, которого хорошо помню худощавую фигуру и лицо, но не могу вспомнить, через кого я с ним

познакомился и где встречался в Петербурге.

Гусев был сильно удивлен, что видит меня на свободе, и сразу сказал, что об этом нужно сообщить серьезным революционерам, вернувшимся с каторги и ссылки, как Джабадари, Гамкрелидзе старшему, Ольге Любатович и др., которые тогда проживали в Тифлисе, при этом он попросил меня посидеть на скамейке на Головинском проспекте, а сам сходит в городскую управу и вызовет Джабадари, который там служил, для того, чтобы он сам подробно меня расспросил. Я стал ждать его, но он возвратился один и сказал мне, что для Джабадари это не новость и придти он не может и не желает.

Гамкрелидзе, прося его совета и помощи в бегстве, так как побег мне казался необходимым. Гамкрелидзе посмотрел на это спокойнее и сказал мне, что скрыться в Закавказьи русскому человеку труднее, чем в России. Я везде буду на виду и выделяться из среды туземцев, что помощь мне может быть оказана только денежная, а на паспорт расчитывать нельзя, и что, по его мнению, в данное время мне пока не нужно бежать. Вообще, Гамкрелидзе советовал мне спокойнее отнестись к этому делу, как-бы наружно покориться и, наконец, если-бы я и хотел искренно служить жандармерии, чего он не допускает, так в данное время я ничего не могу сообщить этой жандармерии полезного, потому что в

Окладский в Тифлисе.

(разбор шифров. телеграммы).

> Тифлисъ. 31 января. № 4985.
>
> Арестантъ Ивановъ 30 января доставленъ Тифлисъ благополучно.
>
> Полковник Пекарскій.

Гусев вскоре уехал на север и затем приехала интеллигентная революционерка Оржешковская, с которой, я не помню где, встретился. Она мне также сказала, что я не Александров, а Окладский. Сказал-ли ей об этом Гусев или кто-либо другой, я не знаю. Таким путем, я был сразу-же разоблачен, и вся тифлисская интеллигенция об этом знала, но я не был этим удручен и не думал скрываться, а решил спокойно ждать и покориться той участи или наказанию, которые меня постигнут. Мое спокойное состояние не долго продолжалось. Вскоре приехал в Тифлис мой палач Судейкин и потребовал от меня, чтобы я поступил в жандармское управление агентом и сообщал начальнику все сведения, которые я узнаю и, вообще, чтобы я находился в распоряжении начальника управления, если-же я не соглашусь, то он меня сейчас-же арестует и возьмет с собой, где, как он выразился, будет делать со мной все, что захочет, хоть веревки вить. Для того, чтобы выиграть время, я согласился на его требование, о чем в тот-же день сообщил

действительности ничего нет. Если-же проживают здесь бывшие политические каторжане и ссыльные, так об этом жандармерия осведомлена, значит, что-же я могу сообщить, кроме слухов, пустых разговоров и сплетен. Если-же явится надобность в побеге, то мне нужно бежать не очертя голову, а основательно подготовившись к этому, и бежать нужно заграницу через Батум.

Гамкрелидзе правильно смотрел на меня, что я не могу быть искренним сотрудником жандармерии, так как откуда возьмется у меня эта искренность и преданность, когда с детства, чуть не с молоком матери, всосал я ненависть к угнетателям народа; что я уже 12-ти летним ребенком усвоил себе идеи социализма, а в 15 лет я был настоящим революционером, значит, все мое детство и юность прошли в революционной борьбе; что я, так сказать, пропитался идеями социализма и сбросить все это невозможно, а отрицать,—это значит не знать человеческой натуры и не признавать влияния воспитательных идей« (не даром иезуиты воспитывали молодежь).

Вот, почему я и не мог быть преданным жандармерии и, вообще, правительству.

Если я оказался физически слабым и у меня не хватило мужества выдержать все мучения тюрьмы, если у меня вырвали признание во всем том малом, что я знал,—так это не значит, что у меня вырвали и всю душу и мои убеждения. Я приходил в жандармское управление раз в неделю и сообщал разные слухи и болтовню, ходившие в городе, о которых, более или менее, уже знал начальник управления. Спрашивал он меня о том, что ссыльный Семенов собирается устроить типографию и динамитную мастерскую и заняться пропагандой и организацией среди рабочих.

Я подтверждал это, причем воздерживался от всяких комментарий, что, ведь, серьезный революционер не будет говорить о таких вещах чуть не на всех перекрестках улиц, а будет делать это молча, соблюдая большую конспирацию. Я ни одним словом не обмолвился, что встретил старых знакомых революционеров среди рабочих, что меня приглашают некоторые из них, как Томашевский, Евангулов и др., заняться организацией кружка, для чего имеется достаточно распропагандированных рабочих. Также не сообщал, что встретил старого знакомого армянина Тавакалова, одного из серьезных интеллигентных революционеров, работавшего раньше в 77 г. в Михайловских мастерских, и что Тавакалов познакомил меня с тер-Саркисовым или Назарьянцем, хорошо не помню, впоследствии казненным турецким правительством за организацию армянского восстания в Турецкой Армении, и приглашал меня на собрание армянских революционеров, которое должно было произойти в уединенной местности Авлабара, причем я поблагодарил Тавакалова за доверие ко мне и сказал ему, что мне в моем положении ничего не следует знать.

Между тем, в это время русское правительство интересовалось армянским национальным вопросом вообще, а революционным движением среди армянской интеллигенции в особенности, а когда произошло отобрание церковного имущества в Эчмиадзине и других монастырях, это национальное движение еще более усилилось.

Если-бы я имел желание искренно служить жандармерии и был достаточно подл для этого, то как легко мне было организовать при моей опытности кружок среди рабочих, выделив более энергичных для боевой дружины и присоединив туда болтуна Семенова с его проектами устройства типографии и динамитной мастерской (кстати у меня имелся и динамит, который я изготовил для глушения рыбы в реке Куре в недоступных для ловли местах и изготовлять который я мог-бы вскоре научить Семенова). Тогда-бы действительно получилась живая струя, которую я будто-бы внес своей деятельностью в пользу сыска, как об этом расписывала жандармерия.

В это время я несколько раз ездил в Батум, где у меня оказалось 4 человека знакомых, о которых я узнал в Тифлисе. Первый старый знакомый был Мануйлов, бывший конторщик в Михайловской мастерской, второй—старик лет под шестьдесят Щербаков, глубоко убежденный революционер, но не принимавший активного участия в пропаганде, хотя и бывал на всех собраниях, происходивших тогда в Михайловке в 77 г. Третий знакомый был Кошелев, очень энергичный человек, с которым я познакомился, работая в Тифлисских мастерских, а четвертого фамилии не помню.

Я ездил в Батум для того, чтобы узнать, каким способом лучше пробраться заграницу, когда в этом явится для меня крайняя необходимость, в чем мне могли оказать помощь мои товарищи. Старик Щербаков и Кошелев, обещали мне это дело устроить через машинную команду одного иностранного судна, которое постоянно нагружалось керосином с завода Нобель, где они оба работали, причем у Щербакова, как машиниста, уже было некоторое знакомство среди машинной команды, а Кошелев, как слесарь, ходил на судно, командированный от завода в помощь команде во время ремонта машин, и тоже был кое с кем знаком. Вскоре я заявил генералу Янковскому, что я у него служить не могу, так как я разоблачен революционером, следовательно никакой пользы ему принести не могу, да и желания у меня нет.

Янковский отнесся к этому равнодушно и даже, как-бы одобрив, сказал, что он принуждать меня не намерен. Я продолжал работать в мастерских дороги вплоть до моего увольнения и ареста железнодорожной жандармской полицией, которая хотела во чтобы-то ни стало превратить мое уголовное преступление в политическое, мотивируя это тем, что побои, нанесенные мной заведывающему токарным и слесарным отделом Блюмбергу, взволновали всех рабочих мастерских, создали известное брожение, вызвали ко мне сочувствие и создали популярность такому поступку.

Жандармерия направила свой протокол дознания к следователю по особо важным делам Хосроеву, требуя, чтобы я был судим окружным судом за вооруженное нападение на начальника, последствием чего было волнение среди рабочих железнодорожных мастерских. Кроме того, начальник железнодорожного жандармского управления телеграммами известил о происшествии прокурора суда и губернатора, так что дело получило большую огласку, которой я и не ожидал. Мне здесь придется несколько подробнее пояснить это дело, потому что оно в действительности произвело сильное впечатление не только на рабочих, но и весь город говорил об этом с разными прикрасами и преувеличениями. Дело в том, что незадолго до моего поступления на работу в мастерские, рабочие убили начальника этих мастерских француза инженера Лефевр. Его поймали темной ночью, когда он возвращался к себе домой, переломали ему ребра, руки и ноги и бросили под окном его квартиры вблизи мастерских. Лефевр, как мне говорили рабочие, несправедливо и жестоко относился к ним, придумывая всякие притеснения, и последней каплей, переполнившей терпение рабочих, был следующий возмутительный поступок, за который ему и отомстили.

Перед этим Лефевр выписал из Ростова партию рабочих котельщиков, которые были почти все люди семейные и приехали с женами и детьми, распродав там все свои пожитки. Когда-же они приехали, Лефевр раздумал открывать специальный котельный отдел и не захотел их принять даже чернорабочими на самый жалкий оклад жалованья. Как его ни просили, ни умоляли дать хоть какую-нибудь работу, причем женщины с детьми становились на колени и просили его уплатить расходы за проезд, который он обещал выдать по приезде на место, наконец, просили выдать бесплатные билеты до Баку, где в это время требовались котельщики,—но он был глух ко всему и приказал гнать их в шею от мастерских.

Рабочие собрали по подписке деньги на дорогу и выдали приезжим товарищам, часть которых уехала в Баку, а остальные поехали обратно в Ростов, проклиная свою судьбу и не добившись справедливости от высшего начальства, к которому обращались. Кроме Лефевра, отличался еще большей свирепостью Блюмберг. Это был тупой, самодовольный и жестокий человек, который относился с величайшим презрением к русским рабочим, а на туземцев смотрел, как на скотов, и не признавал их за людей. После смерти Лефевра, новый начальник мастерских инженер-технолог армянин Карапетов, человек очень мягкий, но бесхарактерный, отменил некоторые несправедливые распоряжения покойного и внушил подчиненным ему мастерам более гуманное отношение к рабочим, но это совершенно не коснулось Блюмберга, который ничуть не изменил своего поведения, а Карапетов по своей слабости не принял никаких более серьезных мер против Блюмберга. Тогда рабочие решили расправиться с Блюмбергом также, как и с Лефевром, но, однако, это не легко было сделать, потому что он никуда не ходил из своей квартиры, которая тут-же находилась в казенных домах возле мастерских.

Блюмберг ходил домой в сопровождении двух вооруженных сторожей и сам был человек физически сильный и дивный стрелок. Хотя на Кавказе никого не удивишь меткой стрельбой, но он удивлял своим искусством и нарочно демонстрировал это перед рабочими, заставляя сторожей бросать на воздух папиросные коробки или яблоки, которые он всегда пробивал пулей из револьвера на лету.

Однажды несколько человек рабочих хотели его поколотить в самой мастерской, но он быстро занял такую пози-

щию, что его нельзя было окружить, и, выхватив револьвер, кричал, что пять человек он обязательно убьет раньше, чем остальные бросятся, и рабочие должны были отступить. Я работал в отделении Блюмберга, который меня выделял из среды других рабочих за мое знание чертежей, поручая более ответственную работу, и обещал сделать меня своим помощником. Однажды в хорошем расположении духа, желая меня осчастливить своим разговором, начал говорить, какие немцы культурные люди, вежливые и благородные, не то, что русские, грубые и грязные, как свиньи. На это я ему сказал, что зачем же тогда он живет среди русских свиней, пусть лучше уезжает к своим культурным и благородным немцам, чему мы будем очень рады. Ничего он мне на это не сказал, только посмотрел свирепо.

Вскоре один из рабочих, сверлильщик армянин Туманов, криво просверлил одну дыру, чем испортил вещь, и просил меня помочь его горю, так как Блюмберг его за это обязательно выгонит, а у него старушка мать, которую он кормит, и хотя он получает только 60 коп. в день, но местом очень дорожит (русские рабочие такой же квалификации получали несравненно больше) и желал-бы продолжать работу. Я обещал ему это устроить и попросил знакомых кузнецов, которым я тоже оказывал иногда помощь, когда они не совсем правильно отковывали вещи по чертежу,—отковать новую для Туманова. Получив новую откованную вещь, я правильно установил ее на станок и Туманов начал сверлить под моим надзором; тут-же лежала и старая испорченная. В это время неожиданно для нас появился Блюмберг, который понял всю махинацию, да и Туманов чистосердечно признался и просил его снисхождения. Блюмберг рассвирепел, схватил Туманова за шиворот и, толкая кулаками, потащил к дверям мастерской, где и выбросил, а затем, возвратившись ко мне, с криком и угрожая кулаками сказал, чтобы я также убирался вон из мастерской. После этого я направился к начальнику мастерских Карапетову, прося его перевести меня в другой отдел мастерских. Карапетов оказался человеком с опустошенной душой, без всякого человеческого чувства, и не хотел защитить своего соотечественника Туманова. Обыкновенно туземцы дружно поддерживают друг друга, но он не сделал ничего в пользу Туманова и не желал вмешиваться в это дело, хотя обязан был вмешаться, на что я ему и указывал.

Мне Карапетов сказал, что он не может оставить меня здесь в мастерских, так как Блюмберг будет этим недоволен, а предлагал перевести меня на станцию Квирили в депо монтером, где я буду штатным служащим, иметь казенную квартиру и приличный оклад жалованья. Я не согласился на его предложение и сказал, что я не хочу уезжать из Тифлиса. Тогда Карапетов сказал мне, что он переговорит с Блюмбергом и чтобы я на другой день пришел к Блюмбергу для об'яснений, попросил-бы извинения и дал обещание, что я впредь так поступать не буду, и тогда я буду зачислен, как штатный помощник Блюмберга.

От такой чести я отказался и сказал Карапетову, что на другой день для об'яснений с Блюмбергом приду и буду просить его, чтобы он оставил меня простым рабочим, не выдвигая в помощники себе, потому что я с ним ужиться не могу.

На другой день перед обедом я пошел в мастерские, но по дороге кого-то встретил из знакомых, заговорился и опоздал, так что, когда подошел к мастерским, то был уже обеденный гудок и рабочие выходили из мастерских. Вскоре показался Блюмберг под охраной двух вооруженных туземцев. Я подошел к нему и только что начал говорить, что меня послал к нему Карапетов, как он замахнулся кулаком, чтобы меня ударить, но я успел отскочить, а затем быстро ударил его по голове толстой пальмовой палкой. Он моментально рухнул на землю без единого крика, как-бы пораженный молнией, и я успел еще раза два ударить его по плечам. В это время охрана его опомнилась и бросилась на меня с обнаженными кинжалами, но я отскочил к забору и выстрелил из револьвера в воздух, чем остановил их, и закричал, что я застрелю их раньше, чем они поразят меня кинжалами.

Все это произошло быстро и неожиданно для меня самого и никакого тут геройства, какое мне впоследствии приписывали, не было с моей стороны, а все произошло случайно, хотя палку и револьвер я взял умышленно, на всякий случай, так как знал, к какому зверю иду.

Вечером ко мне на квартиру пришли два железнодорожных жандарма и искали палку, которой я нанес удар, но ее еще раньше взял один рабочий и спрятал у себя, а жандармам хотелось найти палку, как вещественное доказательство. Револьвер-же не считался и они его не спрашивали. После этого жандармы сказали мне, что ротмистр Евдокимов просит меня придти на вокзал к нему в кабинет для того, чтобы подписать протокол дознания.

Я пошел с ними, но жандармы довели меня до угла улицы и вместо того, чтобы повернуть на право идти на вокзал, они повели меня в другую сторону в полицейский участок, где и сдали под арест, а протокол был направлен к судебному следователю Хосроеву, который вскоре вызвал меня для допроса.

Я рассказал Хосроеву все подробности о том, как относится Блюмберг к рабочим и, в особенности, подчеркнул его отношение к туземцам. которых он даже за людей не считает, а так как Хосроев сам был ярый националист, то и обратил на это особенное внимание и вызвал Туманова, который подтвердил мои слова.

К тому времени Хосроев получил сведения, что опасность для жизни Блюмберга миновала, поэтому он меня освободил, а дело направил не в окружный суд, как того добивалась жандармская железнодорожная полиция, а к мировому судье. По освобождении я пошел в мастерские, чтобы получить расчет, где меня восторженно встретили рабочие, а мои старые знакомые революционеры кричали, что наконец-то проснулся наш Александров, причем все рабочие побросали работу и пошли за мной в контору, чтобы увидеть, как встретит меня администрация мастерских. Вскоре собралась вся администрация во главе с Карапетовым, который больше всех был удивлен, почему меня освободили, и сделал распоряжение послать за жандармами для моего ареста, но тут рабочие зарычали так, что Карапетов не рад был тому, что сказал. Рабочие, наступая на Карапетова, кричали, что арестовать меня вторично не дадут, а если я буду арестован, то они все бросят работу и упрекали его в резких выражениях за то, что он не желал сократить или усмирить Блюмберга. Расчета мне Карапетов не выдал, а сказал, чтобы я обратился за деньгами к начальнику жандармского отделения Евдокимову, к которому он переслал мой расчет, после чего я вышел из конторы под шумные приветствия рабочих, которые меня считали героем и победителем такого зверя, как Блюмберг (ах, если-бы они знали, какой я великий герой!).

На другой день я пошел к Евдокимову, к которому обратился со словами: „господин Евдокимов", чем он был возмущен и стал кричать на меня, что он не господин, а ротмистр Евдокимов, и что никакого расчета моего у него нет.

Вторично я должен был идти в мастерские, где опять мой приход вызвал волнения. Когда рабочие узнали от меня, что Карапетов и не думал посылать или не послал мой расчет к жандармам, тогда рабочие стали требовать от Карапетова об'яснений в таком издевательстве, которого они больше не потерпят, после чего я и получил расчет.

Спустя несколько дней, я был вызван в губернское жандармское управление к генералу Янковскому, где находился и начальник железнодорожного жандармского полицейского управления полковник, фамилию забыл, который набросился на меня с обвинением, что я побил Блюмберга с целью вызвать волнения среди рабочих и что я, как бывший агент, о чем ему сообщил генерал Янковский, очевидно, опять вступил на революционный путь, почему он просит генерала арестовать меня и ходатайствовать о высылке меня из Тифлиса. Я об'яснил ему и Янковскому, что железнодорожная администрация своим произволом может вызвать и не такие волнения, а более серьезные, и что я тут не причем, и подробно рассказал, как для меня самого случилось, что я неожиданно побил Блюмберга.

Тогда Янковский сказал полковнику, что в моем аресте он сейчас не видит надоб-

ности. После этого полковник написал постановление и взял с меня подписку в том, что мне строго воспрещается ходить на железнодорожную территорию, где я могу встречаться с рабочими, и если я нарушу это постановление, то немедленно буду арестован.

Дня через два или три ко мне пришли на квартиру мои знакомые рабочие революционеры Евангулов, Томашевский, а фамилию третьего, моего соседа по работе, никак не могу припомнить, и предложили мне вторично приступить к организации кружка и познакомить рабочих с интеллигенцией для развития рабочих, мотивируя это тем, что теперь я как-бы очнулся от спячки и, что главное, в данное время я пользуюсь большой популярностью среди рабочих и могу быть очень влиятельным человеком.

Я обещал подумать об этом и сказал своим товарищам, что через несколько дней сообщу им свое решение, на что они мне заметили, что тут и думать-то долго нечего, дело ясное. После этого я обратился к Гамкрелидзе, как к человеку, который меня больше всех знал и относился ко мне с доверием, и сказал ему, что я хочу вновь вступить на революционный путь и заняться организацией кружка среди рабочих и привлечь интеллигенцию для развития рабочих, о чем меня просят сами рабочие, а затем при малейшей тревоге я могу уехать заграницу для чего у меня уже все подготовлено и я могу некоторое время скрываться в Батуме среди своих товарищей.

Гамкрелидзе сказал мне, что неужели я так скоро забыл, что мне запрещено заниматься политической деятельностью, каковое постановление мне было об'явлено после разбора моего дела революционерами и которому я должен повиноваться. Я ему ответил, что не забыл об этом, а только сообщаю ему, как о своем желании, и прошу его переговорить с теми лицами, которые вынесли тогда такое решение, на что он согла-

ВЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩІЙ СЕНАТЪ

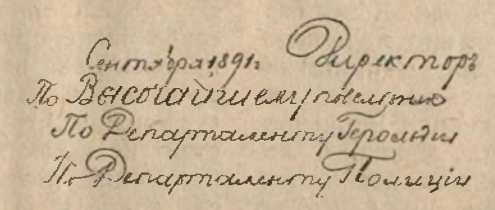
МИНИСТРА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ

РАПОРТЪ.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу моему въ 11 день Сентября 1891 года Всемилостивѣйше соизволилъ даровать Ивану Александрову Петровскому званіе личнаго почетнаго гражданина.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи имѣю честь донести Правительствующему Сенату.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ
Статсъ Секретарь


Сентября 1891 г. Директоръ
По Высочайшему повелѣнію
По Департаменту Герольдіи
По Департаменту Полиціи

Рапорт министра внутренних дел Дурново от 27 сентября 1891 г. № 244.

сился и сказал, что и я со своей стороны тоже могу переговорить с Рухеладзе и Гогоберидзе. Когда я обратился к этим лицам, то они сказали, что не могут этого вопроса решить самостоятельно; как другие на это посмотрят, тогда и видно будет, но что, во всяком случае, это дело хорошее.

От Гамкрелидзе я получил ответ не скоро. Несколько раз я заходил к нему и все безрезультатно. Только недели через три приблизительно он сказал мне, что это дело неподходящее, организация не нужна, чему я удивился. Как это так, что организация не нужна! Я первый раз об этом слышу.

Гамкрелидзе начал мне пояснять, что я не вдумался в местные условия, что русских рабочих тут ничтожная кучка среди массы туземного населения, что русские рабочие не могут иметь никакого влияния на остальных туземцев, потому что существует рознь и антагонизм, в которых виновны больше всего сами русские,—вот почему организация ради организации, по его мнению, и не нужна, что без организации при неосторожности или какой-либо случайности могут арестовать одного или двух человек, а при организации захватить большое количество людей, а то и весь кружок, и без всякой пользы для дела.

Мне было трудно согласиться с таким мнением, но пришлось подчиниться, причем я сказал Гамкрелидзе, что все-таки познакомить русских рабочих с отдельными русскими интеллигентными людьми, по моему, следует и я это сделаю, на что он не возражал, а только спросил, кто такие эти люди. Я ему сказал, что часть из них служит в управлении дороги, как-то: Поморцев—приезжий из Саратова, Правиков—младший отставной офицер, учительница Чернышева, акушерка Сиротенко младшая, которая уже самостоятельно познакомилась с рабочими. Эти люди охотно возьмутся за развитие рабочих и могут организовать кружок, если захотят, и вы им не можете это запретить, так как они совершенно от нас независимы и даже не хотят знакомиться с грузинской интеллигенцией, считая это бесполезным делом. Вскоре я переехал в противоположную часть города, в предместье „Собачья деревня“, переименованную потом в Ново-Троицкое поселение, где нанял маленький домик из двух комнат с кухней за пять рублей в месяц.

Вблизи моей квартиры, на реке Куре, находилась мельница и лесопильный завод местного богача Тамамшева. При мельнице находилась прекрасно оборудованная механическая мастерская с такими могучими станками, которых не было и в железнодорожных мастерских. Эту мастерскую арендовал от Тамамшева инженер Трофимовский, к которому я и поступил на работу.

Проработал я у него около года, когда он принужден был закрыть мастерскую за неимением заказов, и мне пришлось искать себе другое место, что сделать было не легко, так как в Тифлисе в то время не было крупных мастерских, кроме железнодорожных и арсенальных, куда мне доступ был воспрещен главноначальствующим, а разрешено было работать только в железнодорожных и частных мастерских.

Работать в частных маленьких мастерских мне не хотелось, да их и было-то две или три на весь город, потому что мелкие хозяйчики сильно выжимают сок из рабочих, что я уже испытал раньше. Был еще один маленький чугунно-литейный завод вблизи вокзала, но туда не требовалось рабочих.

В это время один мой знакомый токарь Михайлов сказал мне, что есть вакансия в телеграфной мастерской той-же Закавказской ж. д., куда требуется хороший механик для ремонта телеграфных и телефонных аппаратов. Я обратился лично к начальнику телеграфа инженеру Балюкевичу, прося его принять меня на свободную вакансию и зачислить в штат служащих. Балюкевич сказал мне, что главное препятствие состоит не в том, что я могу оказаться на испытании посредственным работником, ему такой и нужен, а в том, что я нахожусь еще под судом и дело о Блюмберге еще не окончено, почему он и затрудняется меня принять, да еще штатным служащим, а поденных рабочих у него нет; что это было-бы с его стороны как-бы демонстративным поступком против другого начальства—принять на службу уволенного рабочего за побои, нанесенные начальнику.

Я рассказал о своей неудаче своим знакомым Поморцеву и Правикову, которые обещали мне содействие для поступления в мастерскую и сказали, что попросят за меня влиятельного в управлении дороги либерала Соловьева, который может повлиять на Балюкевича. Соловьев пожелал лично со мной познакомиться, так как слышал про мою расправу с Блюмбергом и вполне меня оправдывал в этом деле.

Соловьев сказал мне при свидании, что он не либерал, а революционер и, вероятно, потому считал себя революционером, что в пьяном виде в кабинете ресторана перед своими собутыльниками произносил противоправительственные речи, а в трезвом виде гнулся в дугу перед многим начальством, но мне спорить с ним не приходилось, я только слушал его излияния.

Вскоре после разговора с Соловьевым меня вызвал к себе Балюкевич, который сначала долго меня отчитывал за мой жестокий и анти-гуманный поступок с Блюмбергом и соглашался меня принять, как-бы условно, до тех пор, пока об этом не узнает начальник дороги, перед которым он меня защищать не будет и немедленно уволит, как временно принятого для исполнения срочных работ. Он мне советовал не попадаться на глаза администрации главных мастерских и не ходить туда даже по служебным делам, тем более, что это мне легко исполнить, так как телеграфная мастерская находится в частном доме и в отдалении от мастерских.

Для вторичного поступления на железную дорогу никакого разрешения от жандармского губернского управления мне не требовалось получить, так как я уже имел таковое разрешение работать везде, кроме арсенала.

В телеграфной мастерской, куда я поступил, находилось три мастера или механика и два ученика из окончивших курс технического железнодорожного училища. Мастера получали от 40 до 50 р. в месяц, а ученики по 25 р. Заведывающий мастерской получал 125 р. Все мы считались штатными служащими дороги, а не поденными рабочими, как в главных мастерских, и пользовались большими преимуществами против последних. Так, мы имели право болеть три месяца и получать жалованье. Имели каждый год месячный отпуск. Получали бесплатные билеты II класса на шесть поездок в год и прочие мелкие льготы, которыми пользовались все штатные служащие. Рабочий день в мастерской был установлен с 8-ми час. утра до 4-х дня с перерывом на 1/2 часа для завтрака. Это не была какая-нибудь льгота от местного начальства, а общее правило, утвержденное министром путей сообщения для всех телеграфных мастерских России.

Кроме своего основного заработка, почти все мы имели частные работы в городе по устройству электрической звонковой сигнализации и отчасти комнатных телефонов и зарабатывали раза в два с лишним больше своего жалованья. Казенная работа нас не утомляла, она была легкая, чистая и мы не особенно на нее налегали, хотя с текущим ремонтом телеграфных и телефонных аппаратов мы управлялись для всей линии железной дороги.

У меня лично было много заказов, чему способствовал Гамкрелидзе, который рекомендовал меня разным туземным богачам и давал работу из физического кабинета, которым он заведывал в гимназии. Кроме того, я получил работу из одного оптического магазина, для чего мне необходимо было иметь свой токарный станок, который я выписал себе из Петербурга, также выписывал и все усовершенствованые инструменты и, таким путем, у меня образовалась своя маленькая мастерская, в которую иногда приходили работать мои товарищи по мастерской, когда им нужен был токарный станок.

Жизнь моя в это время была тиха, спокойна и однообразна. Я посещал своих знакомых Поморцева и компанию, где больше занимались теоретическими разговорами и кахетинским вином, чем революционым делом, если же я долго к ним не показывался, тогда ко мне нагрянет веселая компания, а у меня опять кахетинское, в котором я никогда не отказывал своим товарищам, так как имел к тому возможность, зарабатывая много денег. Приходили ко мне и старые рабочие из мастерских, но сравнительно редко, и жаловались на произвол и всякие стеснения со стороны начальства.

24 ОКТ 91 №6805

УКАЗЪ

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,

САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО,

Изъ Правительствующаго Сената Г. Министру Внутреннихъ Дѣлъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующій Сенатъ слушали: рапортъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 27 Сентября 1891 г., за №244, въ коемъ прописано, что Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу его, Министра Внутреннихъ Дѣлъ, въ 11 день Сентября 1891 г., Всемилостивѣйше соизволилъ даровать Ивану Александрову Петровскому званіе личнаго почетнаго гражданина. О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, онъ, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, доноситъ Правительствующему

По Департаменту Герольдіи.

При такой однообразной жизни, как в тюрьме, где один день похож на другой и не дает никакого впечатления, я совершенно не могу припомнить, когда началась забастовка в главных мастерских, которая не принесла особых результатов из-за розни между русскими и большинством туземцев, когда одна группа шла на работу и дня через два бросала, затем шла другая группа и т. д., но все-таки забастовка до некоторой степени очистила атмосферу мастерских и произвола стало на время меньше.

Впоследствии, спустя несколько лет, когда произвол и гнет над рабочими увеличился еще до большей степени, рабочие, не веря в спасительность забастовки, решились на террор, который наметили на самый центр, то есть на главных виновников, игнорируя более мелкое начальство. Сначала убили помощника начальника дороги, фамилия его, если я не ошибаюсь, Корф или Корш, которого убийца из туземцев поразил кинжалом в его служебном кабинете в управлении дороги. Не помогла ему и вооруженная охрана, состоявшая из двух человек туземцев, находившихся у дверей его кабинета, да, очевидно, и не хотевшая ему помочь, потому что, во-первых, пропустила убийцу, а затем, когда Корф, не успев выхватить револьвер из письменного стола, защищался тяжелым креслом и кричал о помощи, убийца рубил его кинжалом по рукам, пока он не уронил кресло, а за это время охрана могла бы ему помочь.

Спустя некоторое время, но довольно продолжительное, добрались и до главного виновника—начальника дорог Веденеева. Это убийство было описано не только в местных газетах, но довольно подробно и в петербургских по корреспонденциям из Тифлиса, и я здесь только кратко упомянул о самом убийстве, но зато скажу несколько слов о самом Веденееве, с которым я встречался и даже вступал в некоторый спор по техническому вопросу. В то время, когда я работал в мастерских, Веденеев был начальником тяги и подвижного состава, значит, главным начальником не только мастерских, но и всех паровозных депо

Продолжение текста „Указа".

. . . . . . Сенату.

ПРИКАЗАЛИ: предоставить г. Министру Внутренних Дел сделать надлежащее распоряжение об об'явлении Ивану Петровскому как настоящего Высочайшего повеления, так и о том, что если бы пожелал он получить свидетельство на личное почетное гражданство, то обязан представить в Правительствующий Сенат при прошении, оплаченном гербовым сбором в 80 коп., и с приложением гербовой марки того же достоинства на ответ, квитанцию местного Губернского или Уездного Казначейства о взносе в казну пошлин 15 руб. и метрическое свидетельство, которым бы удостоверялась его личность. О чем его, Министра Внутренних Дел, уведомить Указом, о пропечатании же Высочайшего повеления в Сенатских ведомостях в Контору Сенатской Типографии послать известие...

по всей линии, и очень часто приходил из управления в мастерские, где по его чертежам и по его системе изготовлялись дышла для могучих двухтрубных английских паровозов системы Ферли.

Не желая вдаваться в технические подробности, я все-таки должен сказать несколько слов для характеристики Веденеева, от которого зависела судьба рабочих и машинистов всей линии. Веденеев задался целью усовершенствовать дышла и другие части у паровоза Ферли, которые часто лопались во время под'ема поезда на очень крутой Сурамский перевал, который тогда еще существовал на дороге. Мне приходилось откованные дышла размечать по чертежу, так как я в то время был разметчиком на плите, и ко мне часто подходил Веденеев, интересуясь, правильно ли я исполняю свою работу. Изготовленные дышла по чертежам Веденеева лопались еще чаще, чем английские, и он обвинил в этом рабочих-кузнецов и приказал их уволить как-бы за небрежно исполненную работу и неисполнение указанных технических правил при отковке.

Исполняя эту работу по разметке, я невольно изучил и заметил некоторые недостатки в самом чертеже, по которому изготовлялись дышла, и заявил об этом Блюмбергу, а затем и Карапетову, которые с моим мнением согласились. Тогда я спросил их, за что же уволены кузнецы, на что получил ответ, чтобы я сам спросил об этом Веденеева, если такой храбрый, а они об этом не могут ничего сказать, а также и о неправильности чертежа.

После этого, как только пришел ко мне Веденеев, я ему указал на неправильность чертежа. Он посмотрел на меня с удивлением, как это такая, мол, мразь осмелилась ему указывать и с гордостью указал на свою подпись на чертеже, но я продолжал утверждать и подробно доказывать правильность своего мнения. Тогда он взял чертеж и стал уходить, а я пошел вслед за ним и говорил ему, что когда он убедиться в ошибке, так чтобы в интересах справедливости взял-бы обратно на работу уволенных кузнецов.

Все рабочие мастерских знали об этом случае и с интересом следили, чем кончится это дело. Но вот, наконец, возвратился чертеж новый, исправленный и по нем начали работать, а о возвращении кузнецов ничего неизвестно.

Тогда рабочие обратились к Веденееву с просьбой вернуть кузнецов, как ошибочно уволенных, на что получили ответ, чтобы они не совались не в свое дело и что в следующий раз, если кто-либо еще осмелится заикнуться об этом, так все обратившиеся с ходатайством будут уволены. Затем обращались с просьбой принять вновь на работу сами кузнецы, встретив Веденеева около мастерских, куда им вход был запрещен, но тоже получили отказ с предупреждением, что в следующий раз они будут отправлены в жандармское управление.

Во время забастовки рабочие требовали увольнения Веденеева и сильно его позорили, даже на глазах гражданской власти, которая обещала рабочим свое ходатайство перед министром путей сообщения о перемещении Веденеева на другое место.

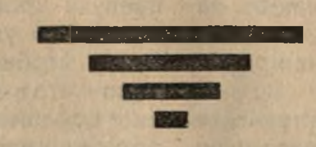
Все это так озлобило его, что он превратился из обыкновенного самодура в лютого врага рабочих и начал медленно, но систематически давить рабочих, пользуясь своей неограниченной властью, как начальник дороги, чем и вынудил рабочих застрелить его, как бешеную собаку.

Во время своей службы в телеграфной мастерской я старался использовать все свои бесплатные поездки и ездил, преимущественно, в Батум, иногда с компанией других служащих, где проживал во время отпусков и купался в море, а также уезжал на праздники к своим старым товарищам, ездил в Кутаис и дальше в деревню, в имение Гогоберидзе, который приглашал меня в компании с другими погостить у него и посмотреть жизнь крестьян, их нравы и обычаи во время праздников. Очень мало ездил в Баку, во-первых потому, что расстояние до него почти в два раза дальше, чем до Батума; дорога унылая, безотрадная, по солончаковой степи, не то, что дорога в Батум, где видишь величественные картины природы, да и самый город Баку не представляет особого интереса.

Первый раз я ездил в Баку еще в то время, когда работал в главных мастерских, и ездил в компании с товарищами посмотреть интересное для нас зрелище, как свирепствовал в то время один нефтяной фонтан общества „Дружба", о котором только и было разговоров в Тифлисе. Фонтан этот находился верстах в пяти или семи от Баку по железной дороге, в местности Сабунчи или Балаханы, и, действительно, это было целое извержение. Он залил окружающую местность нефтью, переполнил все пруды и заготовленные резервуары и его никак не могли закрыть, к чему стремились из-за его вреда, который он нанес окружающим приискам. Еще впоследствии я бывал в Баку, помнится, два раза,—один раз был у Поморцева, родственника тифлисского Поморцева и его сестры, у которого я останавливался во время посещения фонтана.

Второй раз или вернее в третью поездку я ездил на свадьбу знакомого тифлисского рабочего Котляревского, который убедительно просил меня приехать к нему. Остальные поездки ограничивались ближайшими окрестностями, интересными по своей исторической местности, куда тоже отправлялся с компанией, довольно порядочно вооруженной охотничьими ружьями и револьверами, так как по дорогам происходили грабежи и убийства, в особенности свирепствовала шайка разбойника Керима, который появлялся и в предместьях Тифлиса....

(Дальше Окладский писать категорически отказался).



Январьские и мартовские аресты народовольцев в 1881 году.

Считаю нужным предпослать моей заметке несколько пояснительных слов. Я не пишу обвинительного акта против Окладского. И если анализ фактов и сопоставление их приводит к заключению о черных преступлениях Окладского, то не я в этом повинна. Не он меня интересовал, когда я в 1923 году собирала материалы для выяснения причин арестов народовольцев. Сами события стояли всегда передо мной, как только что совершившиеся, и я считала важным и желательным установить подробности роковых провалов.

Недосуг мешал мне до сих пор заняться этими вопросами и только теперь я имела возможность записать выводы, к которым привело меня исследование материалов, которые легли в основу моей заметки.

Ключ к отысканию причин январьских арестов из среды народовольцев в 1881 году дает известная „Справка о секретном сотруднике департамента полиции Иване Александровиче Петровском“, на самом деле об Иване Федоровиче Окладском*), так как Петровский есть имя, данное Окладскому департаментом полиции. На первой-же странице этой «справки», найденной в архиве б. департамента полици, говорится: „Благодаря указаниям и содействию Петровского были обнаружены в 1880 году две конспиративные квартиры в С.-Петербурге, из коих в одной помещалась тайная типография, а в другой изготовлялся динамит“...

То-же самое известие изложено в обвинительном акте процесса 20-ти**) полицейским слогом, который хорошо помогает скрыть участие Окладского в деле раскрытия обеих квартир. Там говорится: «В конце января 1881 года полицейские розыски обнаружили, что участниками этого сообщества были наняты в Петербурге две, так называемые «конспиративные квартиры“, из которых в одной—на Б. Под'яческой ул., д. № 37, кв. № 27, происходило приготовление динамита для задуманного членами сообщества злодеяния, а в другой—на Подольской ул., д. № 11, кв № 21, помещалась тайная типография революционного издания „Народная Воля“. При открытии и осмотре означенных квартир оказалось, что они уже оставлены своими жильцами.“

Еще более подробное, но и более лживое изложение мы находим в обвинительном акте 17-ти*): „24 января 1881 г. при производстве дознания, возникшего вследствие ареста государственного преступника Александра Михайлова, были получены указания, что в начале 1880 г. „террористы“ имели в Петербурге две квартиры, из коих в одной, помещавшейся в д. №37 по Бол. Под'яческой ул., приготовлялся динамит, а в другой в д. № 11 по Подольской ул. помещалась тайная типография. В первой из этих квартир проживали неизвестные лица под именами Григория Еремеева, Анны Давыдовой и Марии Поликарповой, а во второй—Василий Агаческулов, жена его Надежда Семенова и Евгения Климович..... Осмотром домовых книг в вышеупомянутых домах удостоверено, что Еремеев, Давыдова и Поликарпова проживали в доме № 37 по Б. Под'яческой ул. с 5 января по 15 июня 1880 года, а Агаческулов с женой и Евгенией Климович проживали в д. № 11 по Подольской ул. с 8 мая по 23 июля 1880 г.

Означенные сведения подтвердились в главных своих частях показаниями государственных преступников Исаева, Якимовой и Лебедевой, признавших жительство свое в доме №37 по Б. Под'яческой улице, и Кибальчича и Терентьевой, удостоверивших факт проживания их в доме № 11 по Подольской улице, первого под именем Агаческулова, а второй под именем Климович».

*) Былое 1918 г. № 4—5, стр. 223.
**) Былое 1906 г. № 1, стр. 238.

*) Былое 1906 года, X, стр. 211.

Ссылка на арест А. Михайлова, очевидно, понадобилась для того, чтобы отвлечь внимание заинтересованных лиц от сути дела, которая состояла в ядовитейшем предательстве Окладского. Все-же для народовольцев обстоятельства, как-будто, складывались благоприятно и они должны были избегнуть опасности провалов, так как квартиры их были очищены гораздо раньше, чем было сделано на них указание Окладского. Из дома № 37 по Б. Под'ческой ул. они выехали 15 июня 1880 года; из дома № 11 по Подольской ул.—23 июля 1880 года. Донос же был сделан 24 января 1881 года или несколькими днями раньше, как мы сейчас увидим. Но обстоятельства сложились иначе. Гибель подстерегала не только отдельных лиц, но существование самой партии было поставлено на карту.

В обвинительном акте 20-ти народовольцев мы читаем на той же 238 странице*): „24 января 1881 года теми-же розысками обнаружено, что по Казанской ул. в доме № 38, кв. № 18, проживает неизвестное лицо под тою-же фамилиею Агаческулова, под которой был записан жилец вышеупомянутой „конспиративной“ квартиры № 21 в доме № 11 по Подольской ул. По задержании этого неизвестного с производством у него обыска, по которому найдены разные противоправительственные издания, он оказался купеческим сыном Григорием Михайловым Фриденсоном.“

Но на Г. М. Фриденсоне успех Окладского не остановился.

25 января на квартире Фриденсона полицейская засада арестовывает Баранникова. Посредством такой-же засады на его квартире полиция арестовывает 26 января Колодкевича, а в его квартире 28 января Клеточникова и 29 января Льва Златопольского. С арестом Баранникова и Колодкевича у партии вырваны были две сильнейшие ее опоры, а с арестом Н. И. Клеточникова прекратилась безопасность ее существования.

Январьские аресты 1881 года могут считаться об'ясненными, и факт, что причина этих арестов заключалась в предательстве Окладского, должен считаться доказанным.

*) Былое 1906, № 1.

Гораздо труднее выяснить непосредственную причину мартовских арестов 1881 года.

Они начинаются арестом Кибальчича (17 марта) и здесь сразу мы наталкиваемся на обстоятельство, заслуживающее внимания.

Даже в докладах царю, как-будто, скрывается то место, где был задержан Кибальчич. Лорис-Меликов 20 марта докладывает *): „сегодня утром доставлен из секретного отделения градоначальства задержанный 17 марта на Лиговке известный преступник Кибальчич, сын священника..., приготовлявший взрыв царского поезда под Одессой“.

В свою очередь Плеве пишет в докладе Александру III от 21 марта: „в последние дни дознание, не ограничиваясь исследованием обстоятельств к изобличению сына священника Николая Кибальчича, арестованного 17 марта в собственной квартире на Лиговке д. № 83**)“ и т. д.

По своим личным воспоминаниям, я могу сказать, что непосредственно после ареста Кибальчича в радикальных сферах Петербурга говорили о том, что Кибальчич арестован при выходе из частной библиотеки читальни Комарова, и как на причину ареста указывали на то обстоятельство, что Кибальчич имел обыкновение проводить за чтением газет утренние часы, когда все благонамеренные люди находятся на службе.

Почему следствию понадобилось замаскировать читальню Комарова, станет сейчас ясным для читателей, а пока я прошу их со вниманием читать выписки из делопроизводства, относящегося к 1881 года.

С Кибальчича открывается новая серия арестов. В докладе Плеве от 21 марта говорится: „Вслед за арестом Кибальчича Петербургской полицией задержаны были еще два члена социал-революционной партии, из коих, назвавший себя Капустиным, был арестован в квартире Кибальчича (это М. Ф. Фроленко), а другой, именовавшийся Золотницким (Арончик), навлек подозрение тем, что незадолго до арестования Ки-

*) Былое 1918 г., № 4—5, стр. 41.
**) Былое 1918 г., № 4—5, стр. 44.

бальчича был с ним в Публичной библиотеке" *).

Эту последнюю ложь не трудно опровергнуть. Если-бы была правда, что за Кибальчичем следили „незадолго до ареста", то его арестовали-бы тогда-же; с другой стороны, в столь тревожное время, какое наступило после 1-го марта, членам „с.-р. партии" было не до посещения Публичной библиотеки.

Кроме того, слишком мало времени прошло от ареста А. М. Зунделевича в Публичной библиотеке, чтобы Кибальчич, да еще вдвоем с Арончиком, отправились туда читать газету.

Совершенно верно, что Арончик навлек на себя подозрение, но не в Публичной библиотеке, а в библиотеке отставного генерал-майора Комарова.

Это доказывается следующими строками, взятыми из доклада градоначальника Баранова Лорис-Меликову в день ареста Григория Исаева 1-го апреля 1881 года. Здесь прямо говорится: „при продолжении розысков по делу Желябова и Кибальчича выяснено было знакомство с последним Золотницкого, уже задержанного, а равно и других подозрительных лиц, появлявшихся в частной библиотеке отставного генерал-майора Комарова"**).

Из этих канцелярским слогом составленных строк ясно, что Золотницкий (т. е. Арончик) был также выслежен через частную библиотеку Комарова, как и другие подозрительные лица, появлявшиеся в ней.

Кстати надо отметить, что „подозрительными" народовольцы казались только полицейским ищейкам, которым приказано было ловить их; вообще же известно, что одевались все народовольцы прилично, хотя очень скромно, а по виду все были молоды и привлекательны.

Далее Баранов докладывает: „сего числа при прослеживании за одним из подозрительных лиц, называвшимся, как говорят, Ляминым (где-же говорят? Очевидно, в библиотеке, где известны фамилии подписчиков—*А. П.*), он застигнут был в районе 4 участка Московской части, при встрече и таинственных переговорах на улице с темными личностями. При этом захвачены только-что уволенный из Лесного Института сын чиновника Николай Гомалицкий... и другая личность, не об'явившая при задержании своего имени, при дознании же в секретном отделении оказавшаяся бывшим студентом Хирургической Академии Григорием Исаевым.., который состоит главным участником тайной типографии и в тайной-же фабрикации динамита".

И далее: „паспорт Лямина оказался фальшивым, и личность по этому документу... оказалась бывшим студентом Петербургским Папием Подбельским" *).

Следовательно, при помощи частной библиотеки арестованы: Кибальчич, Фроленко, Арончик, Подбельский, Гомалицкий, Исаев. Всего 64, из них такие выдающиеся лица и звезды первой величины, как Кибальчич, Фроленко, Исаев. Чем-же это было достигнуто. На этот вопрос мы должны искать ответ в „справке" департамента полиции, о которой говорено выше. В этом документе перечисляются подвиги предательства Ивана Окладского, и говорится, между прочим, „благодаря указаниям и содействию Петровского были обнаружены: в 1881 году личности задержанных после злодейского преступления 1-го марта злоумышленников, главным образом, при негласном пред'явлении их Петровскому" **).

Следовательно, благодаря указаниям и содействию Окладского были произведены аресты в марте 1881 года и, главным образом, при негласном пред'явлении народовольцев Петровскому, т. е. Окладскому.

Отсюда ясно, что не департамент полиции ловил народовольцев и Окладский только удостоверял их личность. Совсем нет, благодаря его указаниям и содействию народовольцы были задержаны, и лучшего места для таких подвигов нельзя было найти, как библиотека-читальня Комарова. Находился-ли этот отставной генерал-майор в близком родстве с начальником Петербургского жандармского управления генералом Комаровым—неизвестно. Но что заведение его служило департаменту полиции верой и правдой в этом нельзя сомне-

*) Былое 1918 года, № 4—5, стр. 44.
**) Былое 1918 года, № 4—5, стр. 51.

*) Былое 1918 года, № 4—5, стр. 51.
**) Былое 1918 года, № 4—5, стр. 223.

ваться. Очень вероятно, что негласное пред'явление происходило именно там, в этой читальне, куда народовольцы охотно шли на приманку большого количества газет и журналов, и в то время, когда они читали, Иван Окладский, спрятанный за дверью или портьерой, впивался глазами в их лица, узнавая прежде известных ему революционных деятелей и предавая их.—Существует одно печатное доказательство популярности читальни Комарова среди народовольцев того времени. На суде 20 народовольцев, когда Емельянов вздумал взять назад все свои показания, подтверждавшие его участие в деле 1-го марта, ему понадобилось доказать свое алиби утром этого дня во время самого события и доказать, вообще, в каких невинных занятиях он провел весь день 1-го марта, он говорит: „с 10 часов утра и до двух часов я пробыл в кабинете для чтения Комарова, куда часто заходил читать газеты и журналы..." и далее: „...отсюда опять пошел в кабинет Комарова прочитать правительственное сообщение...." Емельянов сочиняет, изображая свое времяпрепровождение 1 марта, но из его слов ясно, что он бывал в читальне Комарова и чувствовал себя в ней, как дома. Его тоже откуда-то проследили, может быть, из того-же самого места, как Кибальчича и других.

Между январьскими и мартовскими арестами были еще и февральские и какие: 27 февраля арестован А. И. Желябов, один из вожаков и вдохновителей партии, при посещении им Тригони. Можно думать, что именно Окладский навел департамент полиции на след Тригони и, таким образом, вызвал арест Желябова.

Дело в том, что Окладский еще в ноябре 1880 года вступил на путь „откровенных признаний", что значит на полицейском жаргоне, назвал всех лиц, ему знакомых в среде революционеров. В Одессе он был знаком с Тригони, следовательно, он также указал на него, а когда тот приехал в Петербург, за ним стали следить, потом арестовали и у него взяли Желябова. Все это подтверждается докладом Лорис-Меликова царю от 28 февраля *), где упоминается имя Окладского, и говорится: „которого я снова приказал доставить ко мне из крепости".

Месяцем раньше (28 января) арестован Тетерка, в роли извозчика. Весьма возможно, что и он пострадал от общего поветрия, был узнан на улице Окладским, который был с ним знаком, и донес на него департаменту полиции. Через один месяц, 27 февраля, Меркулов зашел навестить Тетерку и был арестован.

А. Прибылева.



*) Былое 1918 года, № 4—5, стр. 17.

Краткие сведения о некоторых революционерах, упоминаемых в настоящем номере.

Алексеев Петр. Рабочий фабрики б. Торнтон в Ленинграде, судился по процессу „50" (1877 г.), был приговорен к 10 годам каторжных работ. Произнесенная им на суде речь впоследствии несколько раз издавалась с агитационными целями. По окончании каторги Алексеев был сослан на поселение в Якутскую Область, где в 1891 году был убит, с целью ограбления, якутами.

Антонов П. Л. Рабочий, судился по Лопатинскому процессу (1887 г.), по обвинению в убийстве Судейкина, устройстве динамитной мастерской и проч. Был заключен в Шлиссельбургскую крепость.

Баранников А. И. В 1879 г. участвовал в Липецком С'езде революционеров, где было положено основание партии Народной Воли. Участвовал в покушении на цареубийство. Судился по процессу „двадцати" в 1882 году. Был заключен в Алексеевский равелин, где и умер вскоре после этого.

Войнаральский П. И. Один из главных участников народного движения 70-х годов. Был мировым судьей в Пензенской губ. Пожертвовал все свое состояние на революционные цели и перешел на нелегальное положение. По процессу „192" был приговорен к 10 годам каторжных работ. В 90-х годах вернулся в Россию из Кары и умер в Харьковской губернии.

Гольденберг Г. Убил в Харькове в 1879 году губернатора Крапоткина, участвовал в Липецком С'езде, принимал участие в „Московском подкопе" и других террористических актах партии „Народная Воля". После ареста в 1879 г. выдал подсаженному к нему в камеру агенту Панютину почти всю организацию „Народная Воля". Вскоре после этого повесился в Петропавловской Крепости.

Жебунев С. По процессу „193" был приговорен к лишению всех прав и сослан в Сибирь на поселение, где прожил многие годы, затем возвратилсл в Россию.

Желябов А. Происходил из крестьян. В детские годы был крепостным. Из Новороссийского Университета был исключен за демонстрацию против профессора Богишича. Один из главных деятелей партии „Народная Воля". Был привлечен по процессу „193", и был оправдан. Участвовал в Липецком и Воронежском С'ездах. Принимал активное участие в целом ряде террористических актов, в том числе и в покушении на Александра II (1 марта 1881 года). По этому делу был казнен 3 апреля 1881 года.

Засулич В. В 1878 году совершила покушение на убийство Петербургского градоначальника Трепова. Присяжными заседателями была оправдана. Скрылась за-границу, где была одной из основательниц „группы освобожения труда". В Россию возвратилась после 17 октября 1905 года. Состояла в партии „Черный Передел".

Квятковский А. Народоволец. Сын дворянина - золотопромышленника. По процессу „16" приговорен к смертной казни и в ноябре 1880 года был казнен. Принимал участие в обсуждении покушения на Александра II Соловьевым. Принимал участие в освобождении Преснякова, из - под стражи в 1878 г. и Войнаральского после процесса „193". Участвовал в Липецком С'езде.

Кравчинский. (Степняк). Писатель и революционный деятель. Был некоторое время офицером, затем, выйдя в отставку, примкнул к народному движению 70-х годов. В 1878 г. убил шефа жандармов Мезенцева и скрылся за-границу. № 1 „Земля и Воля" вышел под его редакцией. В 1895 году Кравчинский был случайно убит в Лондоне при железнодорожной катастрофе.

Колодкевич Н. Член партии „Народная Воля" (псевдоним „Кот-Мурлыка"). По процессу „20" за участие в покушении на Александра II был арестован. Умер в Алексеевском равелине.

Морозов Н. Происходит из помещичьей семьи. Из гимназии исключен за политическую пропаганду. Судился по процессу „193". По процессу „20" приговорен к пожизненным каторжным работам. Заключен в Шлиссельбургскую Крепость, откуда вышел только в 1905 г. Был арестован за участие в подкопе на Садовой при покушении на Александра II. Писал революционные стихи. За некоторые из них был приговорен в 1912 г. к 1 году крепости, где и просидел до 1913 года. В общей сложности в тюрьме провел 28 лет. Живет ныне в СССР.

Обнорский. Рабочий. В 1877—78 г.г. участвовал в первых рабочих забастовках в С.-Петербурге. Составлял прокламации. В 1879 году был выдан Рейнштейном и осужден на каторжные работы.

Осинский. Первый организатор группы террористов. В 1879 году казнен. Обвинялся в вооруженном сопротивлении и в принадлежности к террористической партии. Участвовал в организации побега Дейча, Стефановича и Бохановского из Киевской тюрьмы. Участвовал в убийстве шпиона Никонова, в покушении на жизнь тов. прокурора Котляревского и в обсуждении покушения на Трепова.

Пресняков. В 1880 году убил по распоряжению „Исполнительного Комитета" предателя Жаркова. По процессу „16" был повешен в 1880 году. В 1879 г. принимал участие в покушении на Александра II на Лозово-Севастопольской ж. д. близь Александровска, вместе с Окладским.

Прибылев А. По процессу „17" обвинялся в принадлежности к партии „Народная Воли". Обвинялся по делу динамитной мастерской „Нар. Воля".

Перовская С. Повешена в 1881 году за участие в убийстве Александра II на Екатерининском канале в С.-Петербурге 1-го марта 1881 года. По процессу „193" оправдана. Участвовала в покушении на Александра II в 1879 году.

Сыцянко (отец). Профессор. Обвинялся в содействии в работе партии „Народная Воля" и пропаганде.

Синегуб С. По процессу „193“ приговорен к каторжным работам.

Сидорацкий Г. Судился по процессу „50“. В 1878 году был убит при столкновении толпы с полицией во время демонстрации по поводу оправдания Засулич.

Тихонов. Участвовал вместе с Желябовым и другими 18 ноября 1879 г. в покушении на Александра II под Александровском.

Тетерка. Судился по процессу „20“. Участвовал вместе с Желябовым и другими в ряде покушений на Александра II. Умер в Алексеевском равелине.

Халтурин. Главный организатор Северного Русского Рабочего Союза. Им был произведен взрыв в Зимнем Дворце в 1880 году, для чего он в качестве столяра работал в подвале Дворца. После взрыва Халтурин скрылся и был арестован через два года во время покушения на жизнь прокурора Стрельникова в Одессе. В 1882 году был казнен в Одессе

Якимова (она-же Баска, она-же Кобызева). Судилась по делу „193“ (была оправдана) и по процессу „20“. Участвовала в покушениях на Александра II. (Подкоп на Мал. Садовой).

Приговор по делу „193“ о революционной пропаганде в Империи состоялся в 1878 г. Привлекались: Брешковская, Синегуб, Квятковский и др. По этому процессу выявились два провокатора А. Низовкин и П. Горинович.

Липецкий С'езд, продолжавшийся от 17 до 20 июня 1879 г. был вызван идейным расколом в „Земле и Воле“.

Дело „16“ народовольцев в военно-окружном суде состоялось в 1880 г. Квятковский и Пресняков были приговорены к смертной казни. Ширяев был заключен в Алексеевский Равелин, где и умер.

Процесс „20“ происходил в 1882 г. По процессу привлекались: Суханов, Тригони, Баранников, Колодкевич и др. Обвинялись в принадлежности к партии „Народная Воля“, в участии в Липецком С'езде и во всех важнейших террористических актах партии „Народная Воля“.

Процесс „50“ происходил в 1887 г. По процессу привлекались: Г. Гельфман, Л. Фигнер, Джабадари и др. Обвинялись они в пропаганде среди крестьян и рабочих и распространении нелегальной литературы и т. д.

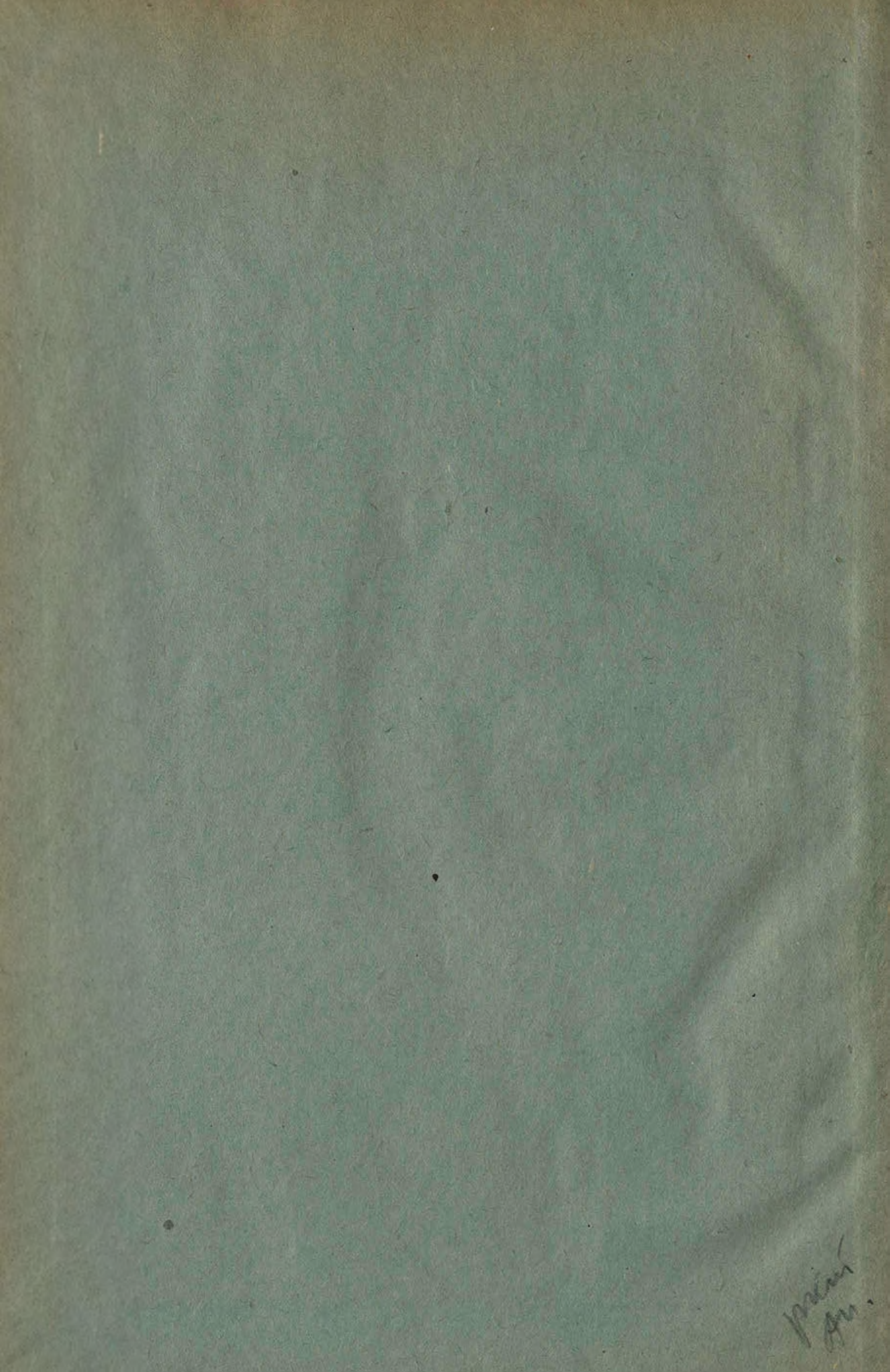
Поправка. На стр. 46, строка 27 сверху, напечатано: „не встречал в Харькове“, — следует читать: „по встречам в Харькове“.

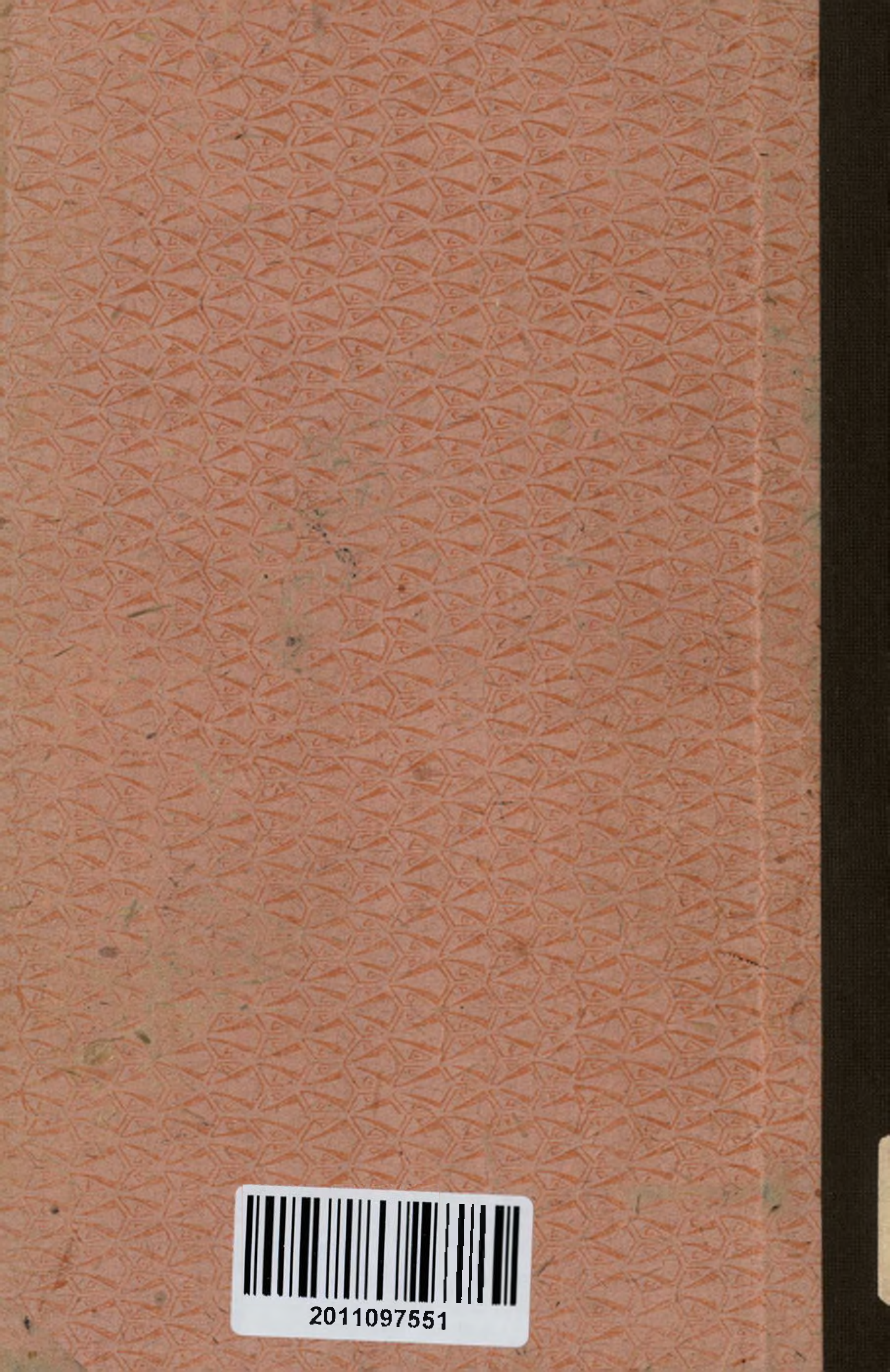
Ответственный редактор **И. Дерзибашев.**

Ленинградский Гублит № 17798. Типография „Рабочий Суд“, Советский пр. 2. Тираж 500.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Цена 60 коп.




2011097551